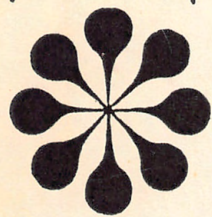


ДЕНЬ ПОЭЗИИ

ДЕНЬ 1966



Ленинград

ПОЭЗИИ

Ц Советский писатель·Ленинград·1966

День поэзии



1966

Ленинград

РС
Д 34

Редколлегия: *И. К. Авраменко, В. Б. Азаров, С. Д. Давыдов*
Л. В. Мочалов, В. Н. Орлов, А. Е. Решетов, В. А. Соснора,
Г. М. Цурикова, В. С. Шефнер (гл. редактор)

Составители: *С. В. Ботвинник, Б. А. Кежун*



Николай Тихонов

* * *

Есть такое в ленинградцах —
То, чему они верны,
В чем никак не разобраться
Никому со стороны.

Не в удаче, не в богатстве,
Не в упрямстве даже суть —
А в особом нашем братстве
Над Невой, не где-нибудь!

И в бою и в непогоду,
Среди самых злых забот —
Ленинградская порода
Никогда не пропадет!

* * *

Из дальних в Грузии скитаний
Я вспоминаю день один:
Мы шли в Орбели из Альпани
Тесниной, краше всех теснин.

Здесь воды синие искрились
И легкий ветер овевал,
Все зеленело, — мы дивились
На этот маленький Дарьял.

И мы забыли время года,
Казалось, все вокруг цветет,
И мы дышали, как природа,
Тем малым раем в плеске вод.

А вот теперь в теснине этой
Плотины грозной высота, —

Чтоб дать стране потоки света,
Вся Ладжанури заперта.

Могучим падает каскадом
Томящийся в теснине вал —
А ты стоишь с каскадом рядом:
Он кончен, маленький Дарьял.

Не ветер легкий овевает —
Вихрь пенных брызг навстречу бьет,
Здесь прошлое в пучине тает
И гром грядущего встает.

О Грузия, твоим красотам
Опять, как прежде, нет числа,
По созданным тобой высотам
К вершинам века ты взошла!



Анатолий Кориунов

ИЗ КНИГИ «МОЛНИИ В РУКЕ»

* * *

Прикосновеньем стали к электроду
Я солнце выпускаю на свободу.
Гляжу в огонь сквозь темное оконце
И управляю страшной силой солнца.
Я сталь со сталью свариваю сталью,
Чтоб стал металл осмысленной деталью.

* * *

На всех широтах и меридианах
У нас сейчас полным-полно забот,
И солнце, полыхнув над океаном,
Как непоседа труженик встает.

А над землей всю грохочут краны,
И поездам спешит навстречу степь.
Но солнцу, хоть оно и встало рано,
За нашими шагами не поспеть.

* * *

П. Соколову

Пусть будут нам завидовать когда-то,
А я жалею о своих годах...
По детству по короткому, ребята,
Протопал я в отцовских сапогах.

А юность начиналась не свиданьем,
Не танцами под пенье радиол,
А пайкой хлеба, фронтовым заданьем,
Детальями, заполнившими стол.

Да, нам детьми пришлось стоять при деле,
С тех пор у нас в душе остался след,
И часто бьется сердце на пределе
У сверстников моих под сорок лет.



Анатолий Краснов

* * *

Мне нравится осенний Летний сад
В погожий день, когда уже тревожит
Над городом плывущий листопад
И равнодушной быть душа не может.

А листья оторвутся и висят,
Порой настолько их полет неспешен,
Что кажется тебе — весь этот сад
Парит, на нитях солнечных подвешен.

Кленовых листьев небольшой букет
Не только этой девочке отрада. . .
В сквозных аллеях тишина и свет,
Шуршащих листьев влажная прохлада.

Но как-то вдруг за нитью рвется нить,
Закружит вихрь, густой и золотистый. . .
И хочется навеки сохранить
Весь этот мир, доверчивый и чистый.

* * *

Я опять прощаюсь с Невой,
Я стою перед нею немой.

Что сказать тебе:
Сердцу душно,
Что вдали умру от тоски?
Это было бы малодушно,
Это было б не по-мужски.

Жил под разными небесами,
И влюблялся, и был любим,
Но всегда,
Как преданный самый,
Приходил к берегам твоим.

Понимаешь ли,
Я не сетую,
Ты мне многое в жизни дала,
Просто я с тобою беседую.
Вот такие мои дела.

Ты живи,
Хорошей с годами,
Береги свои острова.
Всё, что сказано, —
Между нами. . .
Я надеюсь,
ты слышишь,
Нева.

* * *

Когда перекроет дорогу
Шлагбаум вечерней зари,
Неясную чуя тревогу,
Я снова иду на залив.

Там словно бы нет перемены —
Песок, остывающий зной,

Но сосны стоят, как антенны
Тревожной планеты земной.

Так что же душа человека?
Заслуга ее иль вина,
Когда над тревогою века
Не может подняться она?



Нина Альтовская

В КУЗНИЦЕ

Словно карты наступленья — графики,
зыбкий отсвет падает на них.
Острозубый кактус — гость из Африки —
у окна на тумбочке притих.

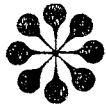
Синим, белым, желтым полыхая,
бьется пламя в горновых печах.
Паровые молоты, вздыхая,
как из-под земли выносят: «А-ах!»

Что есть романтичней нашей кузницы?
Вечный полдень здесь и вечный бой.

Кузница, возьми меня в союзницы!
Я смелее становлюсь с тобой.

Привыкаю к молнии и грому,
прежние привычки изменя,
и на жизнь смотрю я по-иному —
с точки зренья твоего огня.

Может быть, слова излишне громки
но способна зажигать сердца
эта обгоревшая по кромке
фетровая шляпа кузнеца.



Николай Новосёлов

НА ЛУЖСКИХ РУБЕЖАХ

Мы навсегда забыли о прохладе.
Гремит артиллерийская гроза.
Горят леса.
И молят о пощаде
Ромашек воспаленные глаза,
Подернутые дымной пеленою.
И в золоте расширенных зрачков,
На самом дне отчаянья и зноя,
Я вижу тень прохладных облаков.
Они плывут из дальних лет,
Где звучен
Сосновый мир, сбегающий к реке,
Где на корме,
Над скрипами уключин,

Букет ромашек у тебя в руке.
Минутный сон! . . .
А смерть грохочет рядом.
Разрыв и мгла.
И в падающей мгле
Мой друг хрипит,
Растерзанный снарядам,
На вспаханной снарядами земле.
Мне не помочь ему.
Он затихает.
И в пальцах костенеющей руки
Горячей, алой влагой набухают
Несорванных ромашек лепестки. . .



Анатолий Ченуров

* * *

О человеку надо говорить:
Или корить,
Или цветы дарить,
Но не молчать,
Когда он книги пишет,

Дома возводит,
Сталь идет варить.
О человеке надо говорить,
Пока он слышит.

* * *

И в Калифорнии есть невяская вода.
Она была доставлена туда
Незамедлительно,
В ответ на клич
Людей, живущих
В городе Лонг-Бич.

Пусть резок ветер,
Небо моросит, —
Все это нипочем.

Они соорудили водоем,
Назвав его Бассейном Дружбы.
В нем
Соединились воды
Всех морей. . .

Течет Нева,
Родившая и взвившая слова
Такие, от которых горячо,
Когда кумач ложится на плечо.

Ночь над Невой. И луны фонарей,
Покачиваясь,
На воде горят.
Предпраздничный
Октябрьский Ленинград.

Чистейший, алый, революционный,
Он рдеет на волне,
Провозглашенный
«Авророю»
Для всех и навсегда.

Как с ним сейчас
Я ощутимо слит!

И в эту ночь,
На эти волны глядя,
Я начал так стихи о Ленинграде:
И в Калифорнии есть невяская вода!

* * *

Грозе навстречу выходи,
Когда идет гроза,
Не опускай, не отводи,
Не жмурь глаза.

Забудь о хлебе, о тепле
Перед ее лицом,
И станет больше на земле
Одним бойцом.



Игорь Михайлов

НЕВА

Вы знакомы с Невой неспесивой,
с неширокой, с незнатной Невой,
где песчаная отмель не диво,
скромный пляжик, заросший травой?

Это — Золушка: те же замашки.
Как она молода еще там!
Одуванчики, кашки, ромашки
пораскиданы по берегам.

Выйдет в люди красавица скоро,
примет важный и царственный вид,
и закружит ей голову город,
и оденет в нарядный гранит.

Богатейшие будут подарки
ей, блистательной, поднесены:

и дворцы ей положат, и парки,
и заводы к подножью волны.

С ослепительным солнцем во взгляде,
с ожерельем моста на груди,
позабыв об оставшемся сзади,
будет думать: что там, впереди?

Но пока что — простая речонка,
не хмельная от славы река,
пробирается где-то сторонкой —
угловата, стыдлива, робка. . .

Ее сны — простодушно-лукавы,
ее дни — по-ребячьи ясны,
и цветы полевые и травы
в желтизну ее кос вплетены.

* * *

Опустошения войны обычно
доходят к нам сквозь личные потери.
Разрушена семья. Друзья исчезли.
Знакомых лиц внезапно стало меньше.

А если объективно посмотреть?
Как выглядела бы толпа людская,
когда б над нами не прошла война?

Не так бросалось бы в глаза, что женщин
намного больше, чем мужчин; в веселом
и дружном человечьем общезитье
дружнее было бы и веселее;
в столпотворенье молодых людей
гораздо чаще б вкрапливались мы —
так называемые пожилые. . .

Уже становится немного странно,
что эти пожилые, мы как раз,
и были той, тогдашней молодежью,
той юностью, что с сотворенья мира
всегда входила основным продуктом
в однообразный рацион войны.

Как много вас, ребята, — всяких, разных!
Приглядываюсь к племени младому
и незнакомому. . . Что суждено
их юности сегодняшней? Да сгинут
все приготовленные вам кошмары!
Да будет жизнь! Пусть ваше поколенье
спускается по жизненным ступенькам
такой же тесною, густой толпою,
как поднимается по ним сейчас.



Семен Ботвинник

* * *

Обжигает крутая погода.
На морозе деревья трещат. . .
О зиме сорок первого года
вспоминает опять Ленинград.

Как, в сверкающий иней одета,
горьким горем входила в дома
эта светлая, смертная эта
сорок первого года зима.

Снег лежал — почерневший, кровавый,
но мы знали уже и тогда,
что умеет и песней и славой
обернуться внезапно беда.

* * *

Утром ступите на росный простор,
шаг свой по тихим тропинкам направьте. . .
Правда живет в отраженьи озер,
тонкое дерево тянется к правде.

Шепчет о правде ольшаник густой,
к ней обелиск обращается строгий,
ветер — о ней. . .
И, как правда простой,
камень белеет у самой дороги.

Чистая правда — звезда над сосной,
голос стрижа в глубине небосвода. . .
Даль огневает. Но к правде одной
мчится планета сквозь пламя восхода.

БАЛЛАДА ОБ ОДНОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Шли сраженья от моря до моря,
почернел под разрывами снег. . .
В арифметике общего горя
сколько стоил один человек?

Все плотней и плотней окруженье. . .
Пролагая отряду лыжную,
парень шел в боевом охраненье,
шел навстречу чужому огню.

Глухо каркали лыжи по склонам,
ветер вскинулся, лосем трубя. . .
Повстречавшись с немецким заслоном,
парень принял огонь на себя.

Застучали по дереву пули,
в жаркий снег патрули залегли. . .
Но с лыжни партизаны свернули,
из тугой ускользнули петли.

Этот парень прикрыл их собою,
алой кровью окрасился снег. . .
Доложили комбату:
из боя
не вернулся один человек.

И комбат, что сидел молчаливо,
вдруг подумал:
«Не тот — так другой,
все же цену такого прорыва
не могу я назвать дорогой.

ВРЕМЯ

Над яркими звездами всеми,
над тихим болотным огнем
струится незримое время —
и мир отражается в нем.

Оно омывает планеты
и горы сдвигает тайком.
То мчится со скоростью света,
то старым стоит ветряком.

Есть время, свистящее плетью.
Есть время — как добрый рассказ.
Есть время, где час — как столетье.
Есть время: столетье — как час.

Как пламя сгорая над нами,
неслышно уходит оно.
Но кто говорит, что руками
потрогать его не дано?

Ходит пламя от моря до моря,
краток стал
человеческий век —
в океане народного горя
много ль стоит один человек?»

Все сильнее рассвет занимался,
и когда он коснулся вершин,
тем погибшим, одним,
оказался
командира единственный сын.

Полоснула по сердцу утрата. . .
Как он скажет об этом жене?
И родная припомнилась хата,
и стояли бойцы в тишине.

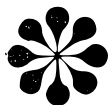
И пришла уж потом, постепенно,
мысль о том, что во все времена
человека великую цену
не снижает ни мор,
ни война.

Народа единое бремя
и общих побед торжество
прессуют упругое время
и делают зримым его.

Трудом наполняясь добротным,
живым, настоящим трудом,
становится веским и плотным,
с людьми остается потом.

Плотины в строительной дымке,
над мудрыми книгами труд —
без шапки своей невидимки
оно открывается тут.

Чем бьются сердца наши хуже,
тем больше заботы о том,
как сжать свое время потуже,
не черпать его решетом. . .



Борис Лихарев

БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК

ДРУЗЬЯМ

В молодости было все, что надо,
Все, что мне дано прославить вновь.
На широких стогнах Ленинграда
Повстречалась первая любовь.

Было все — и странствия, и клятвы,
И с друзьями радостный разбег.
Пережить все это снова рад бы,
Повторить неповторимый век.

* * *

Был я взят из блокады и отдан тебе,
Чтобы ты оставалась в судьбе.
Я прошел по вершинам громад,
Как того пожелал Ленинград.

Обожгла ты сияньем скалы острие,
Чтобы слово пылало мое.

Ты ударила громом прибоев морских,
Чтобы ими наполнился стих.

Показала мне в горе своих сыновей,
Чтобы сердце забилося сильней.
Пусть стучит оно громко в груди у меня
О тебе до последнего дня.

ОБЪЯВЛЕНИЕ НА СТЕНКЕ

Висит объявление на стенке:
Нашелся мечтатель-простак,
Он хочет две трубки от печки
Сменять на ездовых собак.

Ты не умрешь, еще хоть десять дней
Не умирай, а там прорвем блокаду.
Тебе сварю я вновь столярный клей,
Но этот суп помногу есть не надо.

.

Я хвойный принесу тебе отвар,
Чтоб ты пила его, смешав с водою.
Я отвезу тебя в стационар,
Как только он откроется весной.

Ты не умрешь, ведь есть на берегу
В Приладожье селение Кобоны,
Там не хватает крыш и на снегу
Лежат еды бесчисленные тонны.

А может быть — ведь вывешен листок, —
И продадут упряжку нам собачью,
И мы с тобой поедем на восток
По Ладоге январской наудачу.

К нам на пути полков большая сила,
И день и ночь идут они.
А мне пора, машина протрубила.
Ты не умрешь, мы выстоим, усни.

1942



Олег Тарутин

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Отец белил и напевал:
«Эй, баргузин, пошевеливай вал. . .»
А мама ушла в магазин.
А я в этой песне не понимал,
кто такой Баргузин.
Я пошевеливал палкой в ведре,
задумывался над словцом.
Мальчишек еще я не знал во дворе,
мне нравилось быть с отцом.
Отец откуда-то с потолка
кричал:
— Эгей, берегись! —
И стукали капли в газетный колпак
и в нос мой, задранный ввысь.
Отец протягивал кисть:
— Держи,
давай перекурим, брат!
А помнишь, как в этой комнате жил?

Забыл небось Ленинград? —
Немного, что я помнил о нем,
мне злой вспоминалось зимой. . .
Еще вспоминался мне метроном,
тревожный, грозный такой.
А в комнате гулко;
углы пусты;
настил довоенных газет. . .
Потом я с окна отдирал кресты,
докуда в одиннадцать лет
достать я сумел.
Я был рослый пацан.
Отец говорил мне — «брат».

О гулкая комната,
песня отца
и счастье, что — Ленинград!



Надежда Еремеева

МАТЕРИНСКИЙ ПЛАЧ

Солнце нам и в дожди кресало,
И сквозь хмарь текла синева. . .
Я живу, а вот вас не стало —
Сыновья мои, сыновья!

Вы рогатки свои сменяли
На винтовку и скрип ремня
И не дожили до медали,
Сыновья мои, сыновья.

Вспоминаю вас часто-часто.
Тянет прошлого жолынья.

Не хватает мне вас, вихрастых,
Сыновья мои, сыновья!

Нет для памяти передышки,
Нет во времени забытья,
Узнаю вас в любом парнишке,
Сыновья мои, сыновья!

Поклонилась бы праху низко —
Где найти вас? — Не знаю я.
Не оставили обелиска
Сыновья мои, сыновья.

Ленинградец душой и родом,
Болен я сорок первым годом,
Пискаревка во мне живет, —
Здесь лежит половина города
И не знает, что дождь идет.

Память к ним пролегла сквозная,
Словно просека через жизнь.
Больше всех на свете,
Я знаю,
Город мой ненавидел фашизм!

Наши матери, наши дети
Превратились в эти холмы. . .
Больше всех,
Больше всех на свете
Мы фашизм ненавидим.
Мы!

Ленинградец душой и родом,
Болен я сорок первым годом.
Пискаревка во мне живет.
Здесь лежит половина города
И не знает, что дождь идет. . .

НАБЕРЕЖНАЯ ГРИНА В КИРОВЕ

Александр Степанович Грин,
Я сегодня к Вам.
Пилигрим.
Замираю на вятской набережной,
Замеряю прищуром берег.
Я — романтик не слишком набожный —
Вам навеки остался верен.
Это Вятка, а ветер — невский,
Пароходы легко покачивает.
Где Вы бегали здесь, Гриневский,
Где фамилию укорачивали? . .
Жизнь была ненадежным делом,
В сказку Вы от нее ушли.
Но и в сказке она свистела
Пулевою судьбой земли! . .

Лагеря, душегубки, танки,
Ленинградских детей глаза. . .
Вы простите — мы на портянки
Рвали алые паруса.

Мы не сказками душу грели —
Лишь тоской о земле босой.
Чем могла нам помочь в то время
Ваша солнечная Ассоль! . .

Сбросив шапку,
Седой, вихрастый,
Ваше имя шепчу сейчас.
Как ты выжило в нас, Прекрасное,
Как сумело остаться в нас?!

КАК ЛЮБАЯ ДУША

Реки скоро накроет сплошное стекло:
Пропадает воды голубое тепло,
И зверье к ней, дрожа, припадает, —
Все темнеет вода,
Увядает.

Все верней она зеркалом служит луне,
Отчуждения тайна в ее глубине

Недоступное что-то скрывает, —
Остывает она.
Остывает. . .

Как любая душа в окончательный час,
Еле-еле дыша, еще смотрит на вас,
А сама уже смерть постигает,
А глаза уже лед застилает.



Леон Гроховский

ТИШИНА

От довоенной жизни нашей
 Остался чуть заметный след. . .
 В воспоминаньях приукрашен
 Забытый быт далеких лет.

Всё непосредственной и проще.
 Короче ночи,
 Ярче дни.
 И, как березовые рощи,
 Все солнцем залиты они.

Иные,
 Медленные ритмы.
 И беззаботный женский смех.
 Трава на улицах вдоль рытвин.
 Ромашки возле рытвин тех. . .

И, сквозь десятилетия глядя,
 Завидовать извечно мне
 В послевоенном Ленинграде
 Той,
 Довоенной, тишине. . .



Всеволод Азаров

ПОЭТ КОММУНЫ

Нас не сломит нужда,
 Не согнет нас беда,
 Рок капризный не властен над нами.
 Никогда, никогда,
 Никогда, никогда
 Коммунары не будут рабами.

Василий Князев

В косоворотке, яркой тюбетейке,
 С одышкою, с изрядной плешью, тучный,
 Он стариком казался нам в ту пору —
 Ведь было нам всего по девятнадцать.
 Его мы называли дядей Васей,
 Простецки, не отдав себе отчета,
 Что он певец Октябрьских Коммунаров.

Да, Красным Звонарем себя назвал он, —
 В те дни, когда на Питер шел Юденич,
 Поэта голос был призывно громок,
 И волосы его задорно вились,
 И звездочка пылала на фуражке.
 А песню, что солдаты и матросы
 Своей назвали, имени не зная
 Того, кто окрылил ее словами,

Любил Ильич, и Крупская, бывало,
Ему читала коммунаров песню. . .

На школьных вечерах ее мы пели,
Она звучала нам отцовской клятвой.
И что такое р о к мы знали — голод,
Плеть интервента, штык белогвардейца,
Ну, а Коммуна — это наше з а в т р а!

Мы с дядей Васей встретились позднее,
В начале самом трудных лет тридцатых,
Когда нам хлеб по карточкам давали.
Моей жене-девчонке дивным чудом
Подаренный им апельсин казался.
Оранжевый, он был подобен солнцу,
И дядя Вася, как волшебник добрый,
Его извлек и протянул в ладони.

Когда я со своею первой книжкой,
Где были строки белыми стихами,
К нему пришел, он дал мне том Шекспира,
Сказал: «Ты у него учиться должен».

. . . В конце тридцатых сгинул дядя Вася
И песни Звонаря умолкли тоже,
Но жил у нас в душе призыв Коммуны.
Да, жил! И в год, когда нагрянул Гитлер,
И смертным сжал кольцом Коммуны город,
Я вспомнил дядю Васю, вспомнил песню
И сочинил как мог слова другие.

Сегодня, с каждым Октябрем все чаще,
Все молодежи звучит поэта слово.
Возьми его с собой, товарищ милый,
Достойный правнук Красных Коммунаров!

* * *

Сказал моряк:
«Я думал, вы моложе,
Читал я ваши сборники не раз.
Знал на войне
Я двух матросов тоже,
С фамилией такой же, как у вас.
Они служили
Под моим началом,
Один — сигнальщик,
Комендор — другой. . .»
Был вечер, пламенел звездой алой
Флаг краснозвездный

С голубой каймой.
«Повестка» на стоянке звонко пелась.
Бойцы стояли в сомкнутом строю,
И мне до боли возвратить хотелось
Стремительную молодость мою.
Но разве так она ушла далёко?
Был к трем приравнен
Каждый год войны. . .
Но юности, оборванной до срока,
Мы остаемся на всю жизнь верны.
Пускай однофамилец мой, сигнальщик,
И комендор давно ушли в запас,

Но все то,
чего не было, —

УЛЬЯНОВСК

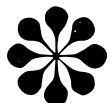
Я помню:
солнца круг багряный
плыл в сизой дымке
по прямой, —
я ехал к Ленину
в Ульяновск
в его каникулы
зимой.
По скверам
в инее искристом,
все объясняя, —
старожил! —
он быстрым шагом гимназиста
меня по городу кружил. . .

(Да, я родился после.
Знаю.
Но вместе с временем моим
я встречи с ним припоминаю —
не с монументом,
а с живым.
И мне знакомей год от года
его улыбка,
очерк плеч,

было
наяву —
в его голове!

и жестов жесткая свобода,
и чуть с картавинкою речь. . .)

Потом,
зимою зачарован,
как он,
я слушал тишину
там, где беседка Гончарова
и памятник Карамзину.
И, ветер волжский взяв на плечи,
я до конца уверен был —
не разлюбить мне
с этой встречи
все то, что он всегда любил:
Россию.
Русь
в снежинках колких.
Ее великие дела.
И Волгу нашу,
матерь Волгу,
что миру
Ленина
дала.



Наталья Банк

СЛОВО, ВРЕЗАННОЕ В ГРАНИТ

Когда исполнились сроки и настала
пора увековечить память погибших, па-
мять героев и жертв Великой Отече-
ственной войны, на помощь скульпторам
и архитекторам пришла поэзия.

**СЛАВА!
ВЕЧНАЯ СЛАВА
МУЖЕСТВУ ГОРДЫХ СЕРДЕЦ,**

**ЖИЗНЬЮ СВОЕЙ ОТСТОЯВШИХ
РОДИНЫ НАШЕЙ СВОБОДНУЮ ПЕСНЮ И ЖИЗНЬ.
СЛАВА СОЛДАТ, ПАРТИЗАНСКАЯ СЛАВА
ВОВЕКИ ЯСНОЙ ЗВЕЗДОЙ
ДЛЯ ДОСТОЯННЫХ ПОТОМКОВ ГОРИТ.!**

Ожили камни, скорбно-торжественно
заговорили с нами надписи на обелисках,
эпитафии на плитах братских могил,

¹ Из надписи в честь воинов-освободителей на монументе в городе Старая Русса. Стихи Мих. Дудина.

поэтические строки на постаментах памятников.

Навсегда влились в ансамбль Пискаревского мемориального кладбища, навсегда легли на серые граниты Серафимовского стихи Ольги Берггольц, Михаила Дудина, Ильи Авраменко. . . Лучшие из них — достояние истинной поэзии. Лаконическая обобщенность и строгая простота некоторых строк сделала их, выбитые на камне, неожиданно крылатыми.

«Никто не забыт, и ничто не забыто!» Как-то сами собою, стихийно стали эти слова девизом нашего праздника 9 Мая, зазвучали с плакатов, приуроченных к Дню Победы, с разворота газетных листов, с красных стягов.

«Никто не забыт, и ничто не забыто!» — как обещание, как клятва в сердце народа, убеждение наше и вера. И даже забывается порой, а многим просто невдомек, откуда эти слова, заключившие в себе самую суть нашего отношения к прошлому, к памяти павших.

Если вы не видели этих строк, высеченных на гранитной стеле Пискаревского кладбища, сделайте к ним в молчании горький, очищающий душу путь. Это долг каждого ленинградца, каждого, кто приезжает в наш город.

Уже при вступлении на Пискаревское поле, на фризах павильонов-музеев, симметрично расположенных по обеим сторонам входа, читаем:

ВАМ, БЕЗЗАВЕТНЫМ ЗАЩИТНИКАМ НАШИМ:
ПАМЯТЬ О ВАС НАВСЕГДА СОХРАНИТ ЛЕНИНГРАД
БЛАГОДАРНЫЙ.

ЖИЗНЬЮ СВОЕЮ ПОТОМКИ ОБЯЗАНЫ ВАМ.
БЕССМЕРТНАЯ СЛАВА ГЕРОЕВ УМНОЖИТСЯ В
СЛАВЕ ПОТОМКОВ.

ЖЕРТВАМ БЛОКАДЫ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ:
ВЕЧЕН ВАШ ПОДВИГ В СЕРДЦАХ ПОКОЛЕНИЙ
ГРЯДУЩИХ.

ГОРДЫМ ГЕРОЯМ — БЕССМЕРТНАЯ СЛАВА!
ЖИЗНЬЮ СВОЕЮ РАВНЕНЬЕ НА ПАВШИХ ДЕРЖИ!

Так говорит стихами Михаила Дудина сама память народная.

А дальше наш путь лежит через центральный партер кладбища, как называют архитекторы грандиозное поле с ровными прямоугольниками братских могил, на которых лишь цифры: 1942,

1943, 1944 и опять 1942, 1942, 1942, жестоко напоминая о самой тяжелой блокадной зиме: 1942, 1942, 1942. . .

И вспоминаются строки Ольги Берггольц, обращенные к городу, строки одной из ее военных поэм:

Не ты ли сам
зимой библейски грозной
меня к траншеям братским подозвал
и, весь окостеневший и бесслезный,
своих детей оплакать приказал.
И там, где памятников ты не ставил,
где счесть не мог,
где снег лежал
где никого не славил,
от зарев розоватый,
где выгрызал траншеи экскаватор
и динамит на помощь нам, без силы,
пришел,
чтоб землю вздыбить под могилы, —
там я приказ твой гордый выполняла. . .

Случайно ли, что именно Ольге Берггольц — летописцу военного Ленинграда, солдату его и поэту, здесь, на этом поле скорби и памяти нашей, — главное слово.

На стеле, которая вместе с фигурой Матери-Родины как бы венчает ансамбль Пискаревского кладбища, вырезано резцом, в три столбца:

ЗДЕСЬ ЛЕЖАТ ЛЕНИНГРАДЦЫ,
ЗДЕСЬ ГОРОЖАНЕ — МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ,
ДЕТИ,
РЯДОМ С НИМИ СОЛДАТЫ-КРАСНОАРМЕЙЦЫ.
ВСЕЮ ЖИЗНЬЮ СВОЕЮ
ОНИ ЗАЩИЩАЛИ ТЕБЯ, ЛЕНИНГРАД,
КОЛЫБЕЛЬ РЕВОЛЮЦИИ.
ИХ ИМЕН БЛАГОРОДНЫХ
МЫ ЗДЕСЬ ПЕРЕЧИСЛИТЬ НЕ СМОЖЕМ,
ТАК ИХ МНОГО ПОД ВЕЧНОЙ ОХРАНОЙ ГРАНИТА,
НО ЗНАЙ, ВНИМАЮЩИЙ ЭТИМ КАМНЯМ:
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
В ГОРОД ЛОМИЛИСЬ ВРАГИ, В БРОНЮ И ЖЕЛЕЗО
ОДЕТЬ
НО С АРМИЕЙ ВМЕСТЕ ВСТАЛИ
РАБОЧИЕ, ШКОЛЬНИКИ, УЧИТЕЛЯ, ОПОЛЧЕНЦЫ,
И ВСЕ, КАК ОДИН, СКАЗАЛИ ОНИ:
СКОРЕЕ СМЕРТЬ ИСПУГАЕТСЯ НАС, ЧЕМ МЫ
СМЕРТИ!
НЕ ЗАБЫТА ГОЛОДНАЯ, ЛЮТАЯ, ТЕМНАЯ
ЗИМА СОРОК ПЕРВОГО — СОРОК ВТОРОГО.
НИ СВИРЕПОСТЬ ОБСТРЕЛОВ,
НИ УЖАС БОМБЕЖЕК В СОРОК ТРЕТЬЕМ.
ВСЯ ЗЕМЛЯ ГОРОДСКАЯ ПРОБИТА.

НИ ОДНОЙ ВАШЕЙ ЖИЗНИ, ТОВАРИЩИ, НЕ
 ПОЗАБЫТО!
 ПОД НЕПРЕРЫВНЫМ ОГНЕМ С НЕБА, С ЗЕМЛИ
 И С ВОДЫ
 ПОДВИГ СВОЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ
 ВЫ СВЕРШИЛИ ДОСТОЙНО И ПРОСТО,
 И ВМЕСТЕ С ОТЧИЗНОЙ СВОЕЙ
 ВЫ ВСЕ ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ.
 ПУСТЬ ЖЕ ПРЕД ЖИЗНЬЮ БЕССМЕРТНОЮ ВАШЕЙ
 НА ЭТОМ ПЕЧАЛЬНО-ТОРЖЕСТВЕННОМ ПОЛЕ
 ВЕЧНО СКЛОНЯЕТ ЗНАМЕНА НАРОД
 БЛАГОДАРНЫЙ,
 РОДИНА-МАТЬ И ГОРОД-ГЕРОЙ ЛЕНИНГРАД.

В медленном течении белого стиха —
 сдержанный трагизм, строгое раздумье.
 Очищенные от бытовизма, скупые эти

строки вместе с тем лишены холодной,
 безличной монументальности. Они впи-
 тали в себя обаяние главной интонации
 стихов Берггольц — их постоянную обра-
 щенность к людям, и павшим и остав-
 шимся жить.

У эпитафий на Пискаревском и Сера-
 фимовском кладбищах своя традиция —
 это знаменитые надписи на могилах жертв
 Февральской революции, выполненные
 А. В. Луначарским.

Это так же естественно и значитель-
 но, как сложившийся обряд зажигать
 вечный огонь у братских могил в Ленин-
 граде факелом, воспламененным от язы-
 ков огня на Марсовом поле.



Александр Прокофьев

ЗА КРУТОЮ РАБОТОЮ...

За крутую работу
 Мы провели
 Год спокойного солнца,
 Год тревожной земли.
 Что мы делали?
 Нефть в Туймазах добывали
 И в трясилах тюменских,
 Где никогда не бывали
 Мы до года спокойного солнца,
 До этого года,
 До сибирского натиска нашего,

До крутого похода!
 Где еще мы трудились?
 Еще в Каракумах
 И там, где с Кумою
 Кумится Подкумок!
 На земле нету далей,
 Где бы нас не видали!
 Нас, живущих во времени грозном,
 Нас, которые вихрям космическим
 внемлют,
 Нас, тревожащих звезды,
 Нас, влюбленных в тревожную землю...

ИЗ РОДОСЛОВНОЙ

Александр Смердову

Мой давний предок назывался смердом,
 Он был дударь,
 Ложкарь,
 Он бражничал небось!
 Что я скажу о нем — недостоверно,
 Скажу, как в людях слышать довелось.

Его душа была огнем палима,
 Он мало видел
 И не много знал.
 Платил с души,
 А не с души, так с дыма,
 Он жег леса под пашню,
 Деготь гнал.



Всеволод Рождественский

ЛИНДА

Сидит безутешная Линда на камне, обтесанном грубо,
Склонилась под гнетом печали в осенней сырой полумгле.
Над нею по-братски простерты объятая узлистою дуба,
И листья, янтарные листья, лежат на остывшей земле.

Отлитая в пасмурной бронзе, лишенная сердца и речи,
Она воплощением горя поникла под серым дождем,
И кружатся поздние листья, и зябнут покорные плечи,
А осень, созревшая осень, сухим догорает костром.

...Скрывалось за тучами солнце, растаявший день опечалив,
Ей очи слеза застлала, клубилась над рощами мгла,
Когда она к тихой могиле, где муж ее, доблестный Калев,
Лежит под увядшей травой, тяжелые глыбы несла.

С камнями в широком подоле взбираясь по осыпи черной,
Скользя, спотыкаясь, носила, а горькие слезы текли...
Пропитанный потом и кровью, все рос ее холм рукотворный,
Венчая леса и озера студеной эстонской земли.

Шумели пожары и войны. Стонало бессонное море,
Топтали тевтонские кони спаленные пашни в крови,
А холм из нетесаных глыбин стоит на крутом косогоре,
Как памятник доблести женской и горем омытой любви.

БЕЛАЯ НОЧЬ

Спит озеро без вдоха, без движения —
Иль только дремлет, поджидая сны.
Лес на свое глядит отраженье
В оцепененьи белой тишины.

Тончайших тучек тянутся волокна,
Молчат поля, колодцы, пустыри.
Деревня спит. Отсвечивают окна
Румянцем несгорающей зари.

Спит труд колхозный в избах
до рассвета.
Молчат в затоне прутья куги,

Спит озеро, и только рыба где-то
Слегка плеснула, разводя круги.

Ночь севера, прозрачная, пустая,
Наследница угаснувшего дня,
Стой надо мной, неторопливо тая
Под свежестью закатного огня.

Ты растворила думы и тревоги
В прохладной, невесомой тишине,
И кажется — березой у дороги
Стоять безмолвно суждено и мне.



Майя Борисова

* * *

Лилово небо.
Дымчатые ветки
Летят, клубясь, от красного ствола.
Так вижу я! Мои зрачки и веки
Уж так сама природа создала.

И только из больничного окна
Все делается вдруг самим собою.
И замечаешь: небо — голубое.
Коричнев ствол. И крона — зелена.

* * *

Две матери над хворыми детьми
Парят бесшумно, как ночные птицы.
— Что, маленький, укрыть? Подать напиток? —
Горячий шепот слышится из тьмы.

Врач не по-русски пишет на листе.
Кивают молча сестры головами.
Две матери над спящими — кругами.
От взмахов крыл — прохлада на лице.

* * *

Весной дерутся воробьи.
На ржавых выступах оконных,
На парапетах, на балконах
Идут великие бои.

Все девять шумных этажей
Сраженьям грозным не мешают.
Нас воробьи
не замечают:
Им просто не до мелочей.



Александр Чуркин

* * *

С песнями судьба навеки связана,
Властен их неотвратимый зов.
И еще немало есть не сказанных
И не спетых у народа слов.

Только их искать не на поверхности, —
В недра врыться, заглянуть на дно,

Их найти, поднять из неизвестности
Не всегда, не каждому дано.

Я не склонен к чинопочитанию,
Но творцам поклон мой до земли,
Что живых созвучий сочетания
Из глубин сердечных извлекли.

* * *

В жизни часто идешь сквозь заросли,
По корягам и зыбунам,
Но от юности и до старости
Не оглядываешься по сторонам.

Не хочу ни жалеть, ни каяться,
Как я жил на своем веку,
И надеюсь, что засчитается
Мне не всякое лыко в строку.

Были взлеты и были падения,
Все случалось в жизни со мной.
И друзья на «мое почтение» —
Поворачивались спиной.

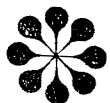
Жизнь — она как широкая улица:
Светит солнце иль сыплет дождь,
Улыбается или хмурится —
Все равно ты по ней идешь.

То она обернется сказкою,
Уведет в золотые края, —
Жизнь, улыбчивая иль неласковая,
Все равно до конца твоя.

Что мне в том, если сердцу неймется
И тревожно ему по ночам?
«Отрицательные эмоции»
Пусть останутся нашим врачам.

Но что мне грядки сытые,
Меж двух строений вбитые,
Скамейки, насмерть врытые
У тихого крыльца!

В моем воображении
Дороги натяжение,
Во мне гудит движение —
И нет ему конца.



Николай Браун

* * *

Строка должна быть, как струна,
Напряжена,
Заряжена
Не только музыкой одной,
Но недр сокрытой глубиной,
Не только ритма хромотой,
Но взлетом, небом, высотой,
Не словом, плоским, как брусок,
Но чтоб как молнии бросок,
Не тем, где камня мертвый звук,
Но где тревожный сердца стук,
Где кровь, живая кровь течет,
Где чаще — нечет,
Реже — чет,
Где нет годов, часов, минут. . .

Входи в строку,
Как в жизнь идут!

Я ВСПОМИНАЮ

Я вспоминаю гул двадцатых,
Уже в туман ушедших лет.
Еще разбег дорог хвостатых
За нами не тянулся вслед.

Еще не село первой пыли
На молодую нашу прыть.
Мы не могли сказать: мы были, —
Мы только начинали быть.

Все были в будущем, и даже
Те, что ходили в стариках;

И умещалось слово наше
Не в фолиантах, а в строках.

Еще не знали юбилеев,
До бронзы было как до звезд,
И не в критических елях,
А в спорах набирали рост.

Они по гамбургскому счету
Велись и, правду за версту
Не обходя, дрались до поту,
Без дураков,
Начистоту.

А кто был прав, об этом, кстати,
Решал, пристрастья не тая,
Не суд жюри,
А сам читатель,
А сам читатель,
Нелицемерный судия.

И не с ленцою стариковской,
А так, как юный пыл велел,
Там спор вели о Маяковском,
А он со всех эстрад гремел.

Там брал Есенин за живое,
Всей болью,
Всей судьбою брал,
И силой слова ножевою,
Ошеломляя, окрылял.

Там Пастернак, большим предвестьем
И в жажде встать с эпохой в строй,
Болея высокою болезнью,
И жизнь была ему сестрой.

Там Тихонов шагал, осилев
Дорог военных пыль и смрад,
И отзвук шел по всей России
От топота его баллад.

Все это было у порога
Влекущей душу высоты,
И чья сквозь век пройдет дорога,
Запечатлев его черты,
Еще неясно было.

Слово

В устах у многих зрело в стих —
В устах Багрицкого,
Светлова
И вслед идущих молодых.

Все, что они как бы на ощупь
Искали сердцем и умом,
Шло, как характер или почерк,
Неповторимое ни в ком.

Теперь без лишнего елеса
Нетрудно критику понять,
Кто шел прямее и смелее,
Кого прельщала тишь да гладь.

Кто шел с большой душой к людям,
Кто заслужил всей болью строк
Не только «бронзы многопудье»,
Но и любви живой венок.



Татьяна Гиришина

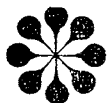
ЗАРОСШАЯ ДОРОГА

Сквозь крымских гор пологие отроги,
В звенящую лесную духоту
Из города уводит по хребту
Заросшая татарская дорога.

Она то исчезает без следа,
То возникает, белая от пыли.
Воспоминания ее давно размыли,
Как быстрая весенняя вода.

Над ней лесное гулкое пространство,
Под нею — русла пересохших рек.
Она — как позабытый человек,
Вернувшийся домой из дальних
странствий.

Ее здесь знают разве старожилы,
Она уж отстояла, отслужила. . .
И только партизанские могилы
В лесной зеленоватой глубине
Встают напоминаньем о войне.



Владимир Бахтин

СЕБЯ, ДРУГИХ И ЖИЗНЬ ПОНЯТЬ...

Сергей Орлов. Лирика. Лениздат, 1966 г.

Как-то мне довелось присутствовать на молодежном диспуте о смысле жизни. Ребята выступали очень искренне и серьезно, спорили — как надо жить и правильно ли живут они сами. Но вот слово взял довольно ответственный комсомольский работник.

— Что вы спорите, — сказал он, — когда всем должно быть все ясно! Читайте газеты, произведения классиков марксизма-ленинизма, и у вас никогда не будет никаких вопросов. . .

Если бы так! Но каждый человек все время подобен богатырю на распутье: ежеминутно и ежесекундно мы должны принимать какие-то решения. И далеко не всегда мы можем тут же определить — что верно и что неверно. Везде, в большом и малом, мы ищем, пробуем, отделяем истину от заблуждения. Говорю это не к тому, что человеку не обязательно иметь четкое мировоззрение и систему нравственных убеждений. Самое сокровенное во мне, выстраданное задела строки из стихотворения Сергея Орлова «Жизнь, по пословице, не поле. . .»:

Но там хоть был устав пехотный,
А здесь не знаешь, как идти. . .

Не случайно свою новую книгу «Лирика» поэт открыл именно этими стихами. Он хочет разобраться в современном мире, «себя, других и жизнь понять», как сказано в другом стихотворении. И тут, действительно, не обойтись без сомнений и трудных вопросов.

Орлова обычно именуют поэтом военной темы. Но уже давно его больше заботит наше сегодня. Война не ушла из его стихов. Она стала как бы фоном, оттеняющим смысл каждого теперешнего поступка и явления, она дала поэту свой

словарь, систему образов, сопоставлений — для современности. Вот одно из программных стихотворений Орлова — «Мой лейтенант». Прошлое — суровое, бескомпромиссное, олицетворенное в образе двадцатилетнего лейтенанта, такого, каким был двадцать лет назад сам герой, — здесь выступает как судья, как совесть настоящего. И надо стоять на большой высоте, чтобы сравниться с высотами той героической поры:

Я живу в тиши, одетый, сытый,
В теплом учреждении служу.
Лейтенант рискует быть убитым.
Я — из риска слова не скажу.
Бой идет. Кончаются снаряды.
Лейтенант выходит на таран.
Я — не лезу в спор, где драться надо.
Не простит меня мой лейтенант!
Он не хочет верить в поговорку:
Жизнь прожить — не поле перейти.

Не раз вспоминает автор эти поговорки, придуманные людьми для собственного спокойствия, для оправдания равнодушия и себялюбия. «Всё, говорят, на свете образуется. . . И Дон-Кихот под старость образумился. . .»

Но он хочет отстоять свою душу от этой ложной мудрости, он не пишет — он кричит в стихе: «. . . поступать, как юностью наказано на дымном гребне фронтовых ночей!»

Пусть не благоразумная — победная
Идет без страха молодость в зарю.
Я буду стар, как перечница медная,
Но и тогда я это повторю.

Жизнь рвется вперед, «нет расстоянья, нет пространства», все не такое, как прежде, все не так. Но не все хорошо: «Век, я хочу с тобою спорить о смысле

злости и добра». Настоящее, человеческое не должно уходить из жизни. И хочется

...быть еще сентиментальным,
Как в дни фрегатов и карет,
Медлительным необычайно
Средь молний, стюардесс, ракет.

За этой несколько выпренной декларацией стоят очень обыденные понятия. Простое счастье. Мир простых вещей и отношений. Такая жизнь всегда манит своей естественностью и чистотой, особенно в наш промышленный век; она в тысячу раз привлекательней для человека, знавшего войну. После боя, после грома, после всех напастей и бед — услышать тишину, увидеть ромашку... Помните, как рассказал об этом Шолохов в романе «Они сражались за родину»? Целый раздел своей предыдущей книжки Сергей Орлов назвал «Простые радости». Там впервые были напечатаны стихи, вошедшие и в новый сборник: «Щи», «Кружка молока», «Свежий хлеб», «Мытье полов». Очень сочны, живописны эти произведения, они напоминают старые натюрморты или жанровые полотна. И создают их только жизнелюбы. Все в этом мире прекрасно — и человек, и природа. Вот улыбается женщина — «и все вокруг переменялось, все стало праздничней и ярче, все сдвинулось, переместилось и стало вдруг светлей и жарче». Море. Черемуха на Петроградской стороне. Но главное, основа — родная лесная северная сторона.

У каждого поэта есть, вернее, должен быть свой корень в земле. Орлова не назовешь крестьянским поэтом. Но он не забыл землю. Об этом — стихотворение, посвященное земляку Сергею Видулову, об этом — уже в виде прямого

заявления — очень хорошее стихотворение «На Волгобалте». Затонули, ушли под воду родные места...

Я до сих пор твой сын, деревня,
Но есть еще двадцатый век, —
Вывертывает он коренья
И прерывает русла рек...

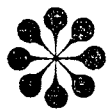
...И я пройду по дну всю пойму,
Как под водой ни тяжело.
Я все потопленное помню.
Я слышу звон колоколов.

Красота, творчество, искусство и люди — эти темы тоже занимают большое место в книге. Честное отношение к миру, к правде и неправде, любовь к человеку чувствуешь в стихах Орлова. Он серьезно относится к искусству. Но когда в сенокосную пору колхозники, его земляки, собрались, чтобы послушать, о чем пишет поэт, он понимает, насколько серьезнее, главнее сама жизнь, труд человеческий по сравнению с тонкостями и ухищрениями искусства. И он находит точные и сильные слова: «Мне пусты показались сочиненья, расхваленные критикой в статьях».

И я прочел для этих трех солдаток
Примерно лет моих, немолодых,
То, что на фронте написал когда-то
Не как стихи, а про друзей своих...

Однако здесь нет и не должно быть никакого противоречия. Искусство как раз и состоит в том, чтобы воссоздать настоящее, самое важное — и сделать это наилучшим образом.

Сергей Орлов поэт спокойный. Иногда он молчит, иногда пишет плохо. Но он всегда думает, ищет. Может быть, ему порой недостает легкости, но это продолжение его большого достоинства — озабоченности судьбой правды. Стихи Орлова дают пищу для размышлений.



Михаил Дудин

ПАМЯТИ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ

Когда расстреливают песню
И мнут подковами копыт,
Она, свободы светлый вестник,
Сквозь пыль в грядущее летит.

Ей никогда не кануть в Лету.
Ей нет начала и конца.
И Пушкин принял эстафету
От безымянного певца.

Я прошлому не потакаю.
Меня от памяти знобит.
Сибирь тоскует по Тукаю,
И по Джалилю — Моабит.

Палач подходит к изголовью
И целится наворачья.
Снега дымятся свежей кровью,
И стонет камень Машука.

И под топор ложится Фучик,
И под прицел встает Джалиль.
Но мир Свободе песня учит
И с крыльев стряхивает пыль.

И ей не надо перевода,
Она останется живой
В твоей судьбе, в судьбе народа,
В судьбе Свободы мировой.

СТАРОМУ СОЛДАТУ

А. Минчковскому

Что б на свете ни сделалось белом,
Мы колени нигде не согнем.
А тому, кто рожден под обстрелом,
Полям-жизнью идти под огнем.

Пусть горниста труба отзвучала, —
Еще где-то шатается гром.
Мы солдатами стали сначала,
А Сократами стали потом.

Хорошо, когда друг под рукою,
Тот, с которым в бою пировал.
Чувство локтя безмолвно порою,
И недолог солдатский привал.

Как положено нашему богу,
В кобуре проверяя наган,
Старшина объявляет тревогу,
И разведка уходит в туман.

До скончанья мы были бы рады
Десять жизней носить про запас.
Но огонь не смолкает. Снаряды
Начинают ложиться средь нас.

Осторожней! Не будет покою.
Голосит по предполью метель.
Хорошо, когда друг под рукою
И маячит над бруствером цель.



Константин Ваншенкин

* * *

Зимой душа всегда смела,
И, как полям, ей нет предела.
А роща словно поредела,
Когда листву свою сняла.

Должно быть, так уж повелось,
И вновь душа моя живая,
Как роща та прифронтная, —
Простреливается насквозь.

* * *

Был этот день с такой в ладу
Голубизною,
Что лишь бывает раз в году
И лишь весною.

В ней лужи, словно витражи,
Горели в блеске,
Дрожали, будто миражи,
В ней перелески.

Была сама голубизна
Густая эта
Как будто пересечена
Столбами света.

Пробив пространство не одно,
Летя отлого,

Как луч, ударивший в окно,
Текла дорога.

Пылинками внутри луча,
Казалось, были
В простор бегущие, фырча,
Автомобили.

Они то меркли, как во сне,
То освещались,
Шли вдаль, но и по ширине
Перемещались.

Стучали смутно поезда
За рощей дальней.
Был день такой же, как всегда, —
Чуть нереальней.

В БОРУ

Стою в бору. Сосновый этот бор,
Густой и неподвластный ураганам,
Как действующий высится собор,
Который знаменит своим органом.

Так знаменит, что многие идут
Сюда не для того, чтобы молиться,
А для того, чтоб слушать ровный гуд, —
Ведь он и просветляет наши лица.

Могучая мелодия без слов,
Где явственней то стук далекой брочки,
То звон синиц, то пение стволов,
То ветра шум, то отзвук электрички.

Мне кажется, что я один в лесу,
Все выше солнце. Время — перед полднем,
И я уже в себе весь лес несу,
Его живым звучаньем переполнен.

Вот так же замерев и не дыша,
Как если бы вода сошлась над нею,
Порой переполняется душа
Любовью или горестью своею.

...Сквозь ветви блещут неба витражи,
Там, в синеве почти ненастоящей,
Слепящих самолетов виражи
Над этим миром и над этой чашей.

Их гул в живой вплетается мотив,
Чтоб сердце от восторга замирало,
И движется сквозь весь лесной массив
До самого, наверное, Урала.



Лев Стекольников

* * *

Заполярное солнце —
Златорогий олень
За горами пасется
Ночь и день,
Ночь и день.

Ходит, ягель копыта,
Вдоль глубоких логов;
И пылает в зените
Отсвет жарких рогов.

По огромному кругу
Бродит — нет ему сна!

Может, ищет подругу?
Где она?
Где она?

Нет ее, тонконогой,
С мягким золотом глаз, —
Ты один, златорогий,
В целом мире у нас.

Светишь в каждом оконце,
Греешь в каждом доме, —
Но тебе, наше солнце,
Вековать одному.

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ

Созвездия меркли. Уже на востоке
Зеленое небо дышало теплей.
Начался над черным болотом в осоке
Таинственный сбор журавлей.

Они прошагали за парюю пара,
Хвосты опустив, гордо выпятив грудь,
А я притаился за деревом старым,
Гляжу — и не смею вздохнуть.

Высокую шею сгибая упруго,
Присядкой ломая торжественный шаг,

Рядком со своею степенной подругой
По кругу запрыгал вожак.

По тропке за ним журавли молодые
Несмело подходят топтать бережок:
Поклоны, скачки, повороты крутые,
И — крылья расставив — прыжок!..

И я любовался, глядел до восхода,
Промок до костей и продрог,
Но счастлив, что милую тайну Природы,
Что праздник весны подстерег.



Николай Евстифеев

МОЯ АРКТИКА

Если уж морозище — так жуток.
Даль — так бесконечные края.
Коли ночь — то сразу на сто суток.
Вот что значит Арктика моя!
На оленях путь по тундре долог,
но воздушный мост у нас хорош —
вертолетом прилетишь в поселок,
а уж тут пристанище найдешь.
После ленинградской папироски
новичку расскажет старожил,
как нам трудно достаются блестяшки
из земных золотиносных жил.
Пусть металлы от мороза клейки!
Ты привыкнешь к стуже, как якут,

и невлюбишь рыцарей копейки,
что при первой трудности бегут...
Мне поселок этот очень дорог!
Мило все, куда ни поглядишь.
Ребятишки тут не строят горок —
на санях съезжают прямо с крыш.
Им тепло, они в меха одеты,
и простуда их не свалит с ног.
Только жаль, что лучшие конфеты
ребятня меняет на чеснок.
Приезжай к геологам на базу, —
если ты не лодырь и не плут,
здесь тебя полюбят, но не сразу:
дорогое сразу не дают!

ПЛЕННЫЕ

Наших бил этот немец поджарый
не жалея.

Он нам знаком.
Мы чрезмерно добры с ним, пожалуй,
с этим чертовым «языком»!

Выворачивался наизнанку,
лишь бы скрыться во тьме, а все ж
ты, ариец, мою портянку
перепачканную сосешь...
Что ж ты падаешь?

Неужели
снайпер метко ударил вслед? . .

Пострадавшего на шинели
дотащили, а толку — нет.
Сам полковник, фашиста ощупав,
закричал нам с досадой:

«Пока
собираем коллекцию трупов,
а ведь нужно достать «языка»!»

Снова пленные были взяты,
и, внезапно попав под обстрел,
их собой прикрывали солдаты:
старший это предусмотрел.

Пламя гнева бушует в венах!
Плащ-палатки в крови, в пыли.
Сами ранены все, а пленных
словно девственниц привели. . .

И, общительность обнаруживая,
пленный немец, безмерно рад,

словно нет ни войны, ни оружия,
тарабарит:

«Камрад, камрад...»

Было все —
как в плохом спектакле;
А под сводами отчих крыш
ты, Курт Вагнер, домашним так ли
обо мне теперь говоришь?

Если в злобе душа не ослепла,
не забудешь ты никогда —
тучи дыма, сугробы пепла,
разбомбленные города.

Слезы женщин, их скорбные лица,
на погостах —
кресты, кресты. . .
Это все не должно повториться!
Пусть же помыслы будут чисты.

Не забудь
свое слово солдата,
не забудь
свой счастливый плен!
Жизнь тебе подаривший когда-то
ждет добра от тебя взамен.



Олег Шестинский

ПО СНЕГУ ИВАН-ГОРОДА БРОЖУ...

Назвали город именем Иван,
конечно, не теперь, — во время оно.
Ах, почему я сына не назвал
Иваном!
Мать бы говорила:
«Пирог с грибами, Ванюшка, поешь»;
любимая бы Ванечкой звала,
перебирая пряди по ночам;
и я бы иногда сказал: «Иван,
попаримся-ка да винишка тяпнем...»
В отделе кадров мудрый человек,

увидев, что его зовут Иваном,
наверно бы и должность дал повыше,
и, может быть, царевичем назначил.
Когда бы он земной окончил путь,
на камне выбили б «Иван
Шестинский» —
внушительно, спокойно и весомо.

По снегу Иван-города брожу.
Катаются на лыжах ребятишки,
зеленые автобусы ползут,
и вороны распластывают крылья.

Я забываю мелкие уколы:
обидную газетную статью,
редактора недружелюбный взгляд
и равнодушие друга. . .

Иван-город

со мною рядом, —
он простой и добрый,
а что еще и нужно человеку?

В ТИХВИНСКОМ МОНАСТЫРЕ

Зачем в церквах томятся промартели,
по алтарям
в течение недели
готовят белокурые швен
стандартные изделия свои?

Я сим никак не защищаю бога, —
у бога есть, наверно, райский сад,
и посреди небесного чертога
сам бог сидит и ангелы сидят.

Но у меня такое ощущение,
что происходит некое
смещение:
крича,
что мы хозяева судьбы, —
порой
ханжей и дураков
рабы.

Четырнадцатый век наш феодальный.
И вижу я на башне чернеца,
и русский князь, разбитый
и печальный,
шлет на подворье верного гонца.

И водружают чернецы шеломы
и во поле палят возы соломы,

чтоб различить в ночи
инополчан
сухие скулы, кожаный колчан.

И, чашу бед до капли осушая,
они мечи вздымают, как кресты. . .
И в этом, право, красота большая,
а мне так не хватает красоты!

Лудите медь под куполом купельным,
чините керегазы, примуса,
совсем забыв, что в крике колыбельном
здесь раскрывали ясные глаза

те мальчики, что не ковер соткали,
а нашу Русь из буйных лоскутков;
те девочки, что суженых искали
на мертвом поле у слепых кустов.

Вы морщитесь — вдруг места впрямь
лишу я,
столкну паяльник с гробовой плиты. . .

Я просто вижу высоту большую,
а мне так не хватает высоты!



СТИХ ПРЕКРАСНО ТАК УСТРОЕН...

Александр Кушнер. Ночной дозор. Вторая книга стихов. Изд-во «Советский писатель», М.—Л., 1966.

В предыдущей книге А. Кушнера мир, во всех его стихиях, состояниях, красках, открывался поэту словно бы легко и многообразно. Голос его обретал разное звучание: чаще негромкое, слегка ироническое, но и веселое, озорное, мажорное, даже торжественное и патетическое. Поэт свободно перемещался в пространстве и времени. Он мог вдруг заговорить, приноравливаясь к слогу Радищева, Карамзина, слегка припадая на архаические речения и старославянизмы. Книга так и называлась — «Первое впечатление». «Что делать с первым впечатлением?» — с веселым недоумением спрашивал поэт. Он уже знал, что «оно граничит с удивлением», «ни о чем не говорит», и все же расстаться с ним пока не хотел: «но настоящего, второго, оно и ярче и милей».

Теперь А. Кушнер решительно и мужественно отказывается от заманчивости «первого впечатления». Стих его стал строже, суше; краски не столь радужны, но зато глубже, тоньше в переходах и оттенках, драматичнее в своих контрастах. Поэт не гонится за стремительным бегом событий, он часто возвращается к одним и тем же образным ситуациям. Ему важнее как бы остановить, задержать мгновение, чтобы увидеть мир в его непреложности, простоте, истинности. Но это-то, как выясняется, и есть самое сложное.

Повторение не всегда есть однообразие. Кстати, оно в природе стиха. Стихи — это движение и возвращение повто-

ряющихся образов и ритмов, идей и созвучий. У А. Кушнера не просто одна и та же мысль в разных поэтических облачениях. Свет и мрак сталкиваются, борются, ведут упорную тяжбу в строчках его стихов.

В поднимающемся тумане растворяются здания, исчезают лица. Поэт следит, как постепенно гаснут окна и дом меняет свои очертания, — всё, что есть в нем живого, сливается с тьмой леса, становится добычей ветра: «Как будто не было ни дома, ни тех, кто в нем сегодня жил». В сумерках зимнего студеного утра город распадается, становится неузнаваем. Смешиваются тени, оплывают заросшие льдом строения, пронизывающий ветер, неуютно прохожим. Поэт старается собрать разрозненные черты, восстановить целостность привычного образа: «...жить, покуда этот фокус мне не удался, не могу». Ему необходимо вернуть привычному пейзажу утраченную в зимней мгле пушкинскую гармонию.

Взвинченные страсти, преувеличенные жесты, речи, взятые на два тона выше, — похожи на дымовые шашки. «В этом дыме, в этом смраде ловят нас и рвут на части», шум и суета вражды, гнетущая душу тоска, страх, горе — они смещают связи, затуманивают суть. Ночная буря предстает как всеобщее бегство, панический бег на месте. В слепоте Варфоломеевской ночи гибнут и гугенот, и католик, и тот, кто верит, и тот, кто не верит, кто сказал правду и кто солгал: «Не ночь, а нож. Не ночь, а меч. Сплошное острие...»

Да, «добро... подсказано всем ходом». Однако мир в свете дня, ясный, реальный, выстроенный по законам доб-

ра и красоты, не возникает сам собой. Его нужно открыть, утвердить, удержать. «Не помнит куст, что делал ночью, каким чудовищем он был». Поэт не может ничего забыть. Он в «ночном дозоре». Он верит в разум, в искусство. И ему удается раздвинуть сумерки, вскрыть подлинную, истинную сущность вещей. Ритмы жизни рабочей окраины заставляют его ощущать «суровый смысл понятный ежедневного труда». В классе ученики «склоняют слово «ливень», как будто делают деталь». Он видит, как шуршащие нити протягиваются от ткацкого станка во все концы света. Крутится старая пластинка, и через времена, шумы, бесчисленные помехи пробирается к нам голос певца. Рождается человек. Словно кто-то зажег свечу и «что-то выхватил из мглы»...

Поэт добивается целостности, полностью восприятия жизни. Нельзя постичь ее по частям, разлагая на элементы и категории. Он напряженно ищет «точку, в которой все сошлось» — добро и зло, прошлое и настоящее, обыденное и вечное, конец и начало, жизнь и смерть.

«Чем не вечность?..» — спрашивает поэт, перечисляя приметы медленно текущего знойного летнего дня в учительском доме отдыха: однообразие, неизменные повторения разговоров, шуток, лиц, нудные банальности массовика-затейника, который поставлен в стихе рядом со скрипучим кузнечиком. Вопрос этот, повторяясь в каждой строфе, обретает как будто все разнообразие иронических оттенков. Но вот в конце: «И опять — невероятный блеск пригорков и лесов!» Теперь «чем не вечность?..» звучит всерьез — высоко, не без патетики. И тут не только контраст, противопоставление. Частица вечности действительно есть в этом дне, в этом быте. Вечность в данном случае не поэтическая метафора, она реально ощущается в самой конкретности и ежедневности жизни. В перипетиях велосипедной прогулки для поэта и вправду есть что-то от фантастического путешествия Фауста с Мефистофелем. А сдвинутый косо стул, свидетель вчерашнего злого разговора, обиды, предательства, свидетель просто

скучно, зря прошедшего времени, для него страшнее всяких кошмарных снов.

Город, возникающий в стихах А. Кушнера, «город, где можно и в горе прожить», — Ленинград, узнаваемый отнюдь не по сувенирным приметам. Он дан с особой конкретностью ощущений и состояний. Ветер, то освежающий, то пронизывающий, дует именно с Невы. И отчасти все-таки из стихов Блока, где «ветер, ветер на всем белом свете». Так что это немного и *ветер времени*. Потому здание Главного штаба может на глазах свернуться в рулон, превратиться в чертеж, который небрежно засунут под плащ итальянского архитектора, идущего по Летнему саду и овеваемого все тем же ветром с Невы.

Время у Кушнера как бы теряет свою историческую перспективность, сжимается до предела в настоящем. В стихотворении «Солонка» он, как и встарь, еще отправляется на обед к Державину. Но Хемницера и Капниста поэт встречает уже на набережной Невы сегодня, сейчас, он слышит жалобное бречанье лиры, вздохи трубы, ощущает милую наивность, благодушную беспомощность благородных чувств: «Но лязь ль душе чинить препоны? Мы и теперь твердим: нельзя». Историческая дистанция исчезает. Открывается связь, общность прошлого и современности. Поэт запросто входит в «Ночной дозор» Рембрандта, ощущает покой предрассветного города, тяжесть ружья на своем плече, слышит тихие голоса. Вглядываясь в портрет Монтеня, поэт слышит, как тот рассуждает о чести и прочих высоких материях, но слова философа тонут в нестройном разговоре, который одновременно ведут и цирюльник, так отлично побривший череп философа, и мастерица, сделавшая кружева воротника, и портной, искусно расшивший шелком платье. Здесь нет сдвига времен, скорее ощущение единства, слитности, нерасторжимости прошлого, настоящего, будущего.

И в языке поэта мы уже не чувствуем легкого привкуса стилизации, хотя в речевой сплав по-прежнему входят очень разные составляющие, в том числе обо-

роты русской поэзии XVIII века, — но теперь уже чаще «цитируется» Пушкин и Блок. «Почти как тонущие челны, вздымались утлые дома». Так образность и лексика Пушкина включаются в совсем не пушкинскую синтаксическую конструкцию, растворяются в ней. В это же время стихотворение «Гофман» может быть начато с подчеркнутой небрежностью современного разговорного обращения: «Одну минуточку, я что хотел сказать...»

«Когда я мрачен или весел, я ничего не напишу», — признавался в свое время А. Кушнер, словно извиняясь, что дорожит душевным равновесием, что должен ждать, «когда большие гири горя, тоски и тяжести земной, с моей душой уже не споря, замрут на линии одной». Тогда поэт открыл для себя эту истину. Теперь он ее применяет последовательно, убежденно. Не только суть жизни и времени, но и «простые тяжести земли» оказываются неподвластными душе, если «тоской склонять ее к чернилам, пугать несчастьем вдали». Суматоха, суета, погоня за модой, ложь и туман театральности, преувеличенных страстей существуют не только в жиз-

ни, но и в поэзии, они ломают и портят стих. Для А. Кушнера законы стиха так же объективны и непроверяемы, как законы природы. Стих — это прибор «высокой точности, с которым сверяют дали и углы». На его действия не должны отражаться магнитные бури и волнения души поэта. «Решает сад, осмотрен мною...» Не поэт, а сам сад решает... «С тобой, со мной, с продрогшим садом случилась мягкая зима...» Зима случается, как беда, и опять же с человеком и природой наравне. Поэт только подмастерье при этом чуде, рожденном стихией русского языка, усовершенствованном Пушкиным и Тютчевым, Блоком, Маяковским, Пастернаком.

Поэт не суетится, не размахивает руками, не ратует и призывает. Но думает, всматривается, исследует. В этом и есть суть поэтического действия, рождающегося из высокого напряжения творчества.

Книга А. Кушнера сильна не выводами и итогами, а движением мысли и стиха. «Чему стихи нас учат? Строю. Точнее — стройности. Добру». Поэт вводит нас в мир стиха, спокойного, доброго, приобщает нас к чистоте, ясности, стройности.



Павел Кустов

* * *

Сомлев от нежданного горя,
На север уеду больной.
Лечи меня, Белое море,
Своею соленой волной!

Взбодри меня свежестью ветра,
Дай коже почувствовать соль.
В свои беспокойные недра
Мережи закинуть позволь.

Пленясь островами твоими,
На камне замшелом авось
Забуду заветное имя,
Пронзившее сердце насквозь.

Да будет отныне мне дорог
Посад на твоём берегу,
Где слово участия поморов
Я запросто слышать могу.

Где люди живут без утайки,
Умеют и петь и плясать
И первому встречному байки
Не прочь старики рассказать.



Петр Кобраков

* * *

Давно дружу с Невою, с парками,
Но до сих пор приходят в сны
Разливы зорь, закаты яркие
Моей смоленской стороны.

Себя я вижу малолетнего:
Над головой — осинка дрожь.
Ведет меня тропинка летняя
На светлый плес, что с небом схож.

К обеду небо зноем полнилось,
К жнивью вела меня тропа.
Мне детство давнее запомнилось
На пальце шрамом от серпа.

Запомнились закаты в золоте...
Я все, чем жил, в себе ношу.
Я до сих пор в гранитном городе
Медовым воздухом дышу.

СОЛОВЬИ

Ловили их на белых ветках.
Вдали рассвет был распростерт.
Ловили сетками и в клетках
Везли потом в аэропорт.

Пускай порадуют солисты
Людей иной, чужой земли.
Но огласить волшебным свистом
Они чужбину не смогли.

Там — эвкалипты-великаны,
Трава под «ежик» во дворе. . .
А им бы — русские туманы
С рекой румяной на заре.

А им бы — окна расписные
С резьбою створок по краям,

Места озерные, лесные,
Где петь — раздолье соловьям.

Где в летний зной легка прохлада,
Где стежки вдаль берут разбег,
Где что ни девушка — отрада:
Пройдет — запомнится навек.

Где пей росу на каждой ветке,
Где им волшебный голос дан. . .
Не зря солисты бились в клетке,
Перелетая океан.

И там, в плену рассветной сини,
С тоски попадали в траву. . .
И я без воздуха России,
Как и они, не проживу.



Алексей Титов

МЕРТВЫЕ ЛЕСА

Как ртуть, грозна вода предгрозовая,
Но поднялась и взгривилась волна,
Стальной канат, как нитку, разрывая, —
Страшна вода, когда она вольна.

Разбиты цепи, вырваны и скобы,
Грохочут бревна, как на валунах.
Верхушки сосен, словно перископы,
Уже ныряют в пенистых волнах.

Им больше на земле не красоваться,
Под пилами на стройках не звенеть,
А с каждым днем все глубже опускаться
И тиною озерной зеленеть.

Вот так, стоймя, исчезнуть под волнами,
Как будто бы нацелясь в небеса.
Стоят на дне, невидимые нами,
В сплавных озерах мертвые леса.



Галина Новицкая

РЕКА

Она гордилась отраженьем
Огромных белых облаков,
Широким солнечным свеченьем,
Упавшим в воду с берегов.

Она от счастья не дышала.
И не хотелось мне шутить.
Но было так легко с причала
Все это камешком смутить.



Николай Мальшиев

* * *

Из самана деревня,
Где каждый — гуляка и пахарь,
Вековая деревня,
Ушедшая в землю на треть.
Белолицые хаты
В линялых от солнца папахах
Целый день загорают —
Не могут никак загореть!
Убегают тропинки в полынь,
В камышовый овражек
И в прибрежную тень,
Где ступает нога косаря.
За рекой,
Как околыши дедовских грозных фуражек,
Как лампасы казачьи,
Горит, не сгорая, заря.
Тянет с база соломой,
Вчерашней соломой запрелой,
И в кадушках дубовых гуляет хмельной виноград. . .
Перед старой деревней
Стою молодой, загорелый
И тревожно молчу,
Будто я перед ней виноват.

* * *

В колодце — небо цвета синьки,
В колодце — сизые слегда —
Лежат, как тонкие косынки,
Капроновые облака.
И зайчики от ведер скачут
По бревнам,
И привычен взмах
Красивой молодой казачки
С полынной дымкою в глазах.
Ей и босой идти не больно,

Она, среди колючих трав,
Вдруг приосанится невольно,
На плечи коромысло взяв.
Легко,
Торжественно и немо
Несет под камышовый кров
Вечернее степное небо,
Безоблачное
Да краев. . .



Василий Бетакчи

ОТКРЫТИЕ ОТКРЫТОГО

Все недооткрыто,
Все недовоспето.
Есть дорога, ты, да я,
Да два велосипеда.

Открываем вечное
Чудо колеса,
Открываем речки,
И леса,
И цвета и запахи
Улиц и прудов,
Открываем заново
Души городов:

Без дистанций, стартов,
Без шумихи пестрой —
То холмистый Тарту,
То низинный Остров,

И граненый Таллин,
И суровый Псков. . .

Открываем дали
Трав и облаков.
Можно — руки за голову,
Лечь в траву,
И откроешь заново
Синеву.

Будьте с нами в заговоре,
Камыши:
Открываем заново
Две души!

Нам в озерном зареве
Зоревать,
Нам друг друга заново
Открывать.

ПРАКТИКА ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

На земле — столетья проносятся,
А в полете — несколько лет.
К относительности относится
Вечной молодости секрет.

Человек и фотон — похожи:
Им для жизни скорость нужна,
Потому что масса покоя
У обоих нулю равна!

То, что страшно назвать классическим,
Бронзовеет с теченьем лет,
И становится относительным
Абсолютный авторитет.

Относительность, относительность!
И чиновники входят в раж:
Где же грань, за коей почтительность
Переходит в подхалимаж?

И песчинка сравнима с глыбою,
И крапива порой — в чести.
Рак стремится создать безрыбье,
Чтоб значенье приобрести!

.

Я бросаю кусочки хлеба,
Раковка лежит на песке.
Я ее опускаю в небо,
Опрокинутое в реке.

Облака оттеняют синее,
А оттуда — как звон струны:
Это жаворонок усиливает
Относительность тишины.



Памяти Анны Ахматовой

Николай Браун

АННЕ АХМАТОВОЙ

Мы детям клянемся, клянемся могилам,
Что нас покориться никто не заставит.

1941 г.

А. Ахматова

Какая сила клокотала
В груди у Вас, когда рука
Вот эти строки начертала,
Как на скрижалях, на века!

Какая боль пером водила,
Удары сердца приглушив,
И как набатной медью била
В безмерный колокол души!

Как эта боль и гнев народный
Гудели, отзываясь в Вас,
И родились строкой, свободной
От страха, в этот страшный час!

Ваш голос послан был судьбою,
Чтоб так сказать от нас, живых.
Он был набатом и трубою,
И знаком светлых сил земных.

Николай Сидоренко

* * *

Постепенно отходит ненастье
От безбрежья небес и воды.
На песчаном, невысохшем насте
Снова узкие тают следы.

Это Муза в сиротстве бродила,
Вспоминала свое ремесло.
Реют по ветру сосен ветрила,
День цветочной пылью занесло.

Все живое, родное по крови
Утверждается заново тут.
По-хозяйски скворцы в Комарове
В деревянных домишках живут.

Я грущу о несбыточном чуде
И впадаю на миг в забытье...
Как прекрасно, что смертные люди
Детски верят в бессмертье свое!

Вечной свежестью веет в аллее.
Тихий вечер затеплил звезду.
И звучат, как в старинном лицее,
Ямбы строгие в Вашем саду.

Ирина Малярова

С О Н Е Т

Есть на земле счастливые сердца —
По капельке, по искорке, по вздоху
В себя переселившие эпоху,
Ей верные до самого конца.

Когда такой уходит человек,
Живые по нему часы сверяют.

И время на секунду замирает
И лишь потом выравнивает бег.

О, времени сердечный перебой!
За ним дыханье следует второе.
Неистребима жизнь! Ее прибой
И тихий берег вечного покоя
Еще дороже станут в память той,
Что ничего не унесла с собой.

Всеволод Рождественский

* * *

В то время я гостила на земле,
Мне дали имя при крещеньи — Анна,
Сладчайшее для губ людских и слуха.

А. Ахматова

Все выше к свету по долине лилий,
К деревьям, что подобны облакам,
Ее повел почтительно Вергилий
В Элизиум — открытый славе храм.

Создатель Гамлета, склонясь в поклоне,
Сказал ей: «Леди, в тот далекий час

Пред саркофагом Юлии в Вероне
С Ромео рядом я увидел Вас».

Она стояла, вглядываясь в лица,
В сердца поэтов всех веков и стран,
И горбоносый профиль флорентийца
Прорезался сквозь тающий туман.

«Прошли Вы все земные испытанья,
Когда Ваш город был бедой одет,
Вы гордо отстранили хлеб изгнанья,
Врагу в лицо сказали твердо: «Нет!»

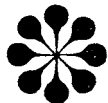
Она стояла, опустив ресницы,
В привычном одиночестве своем.
Над ней неведомые пели птицы,
Дышал лазурью мирный водоем.

Казалось все таинственно и странно, —
Ужели ей и это суждено?
И кто-то вдруг плеча коснулся: «Анна,
Как я Вам рад, как Вас я ждал давно!»

Здесь все друзья. Тропой кремнистой,
Вы шли все выше, оставляя мглу,
Позвольте Вас приветствовать по-русски,
Мы земляки по Царскому Селу!»

Губами, старомодно и учтиво,
Ее руки слегка коснулся он, —
И перед ней родные реки, нивы,
Леса, озера пронеслись, как сон.

Запели звезд ликующие скрипки,
Сгорела память зол земных дотла.
И в озареньи пушкинской улыбки
Она в свое бессмертие вошла.



Анна Ахматова

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ В КОМАРОВЕ

КОМАРОВСКИЕ НАБРОСКИ

О, Муза Плача. .

М. Цветаева

...И отступилась я здесь от всего,
От земного всякого блага.
Духом-хранителем «места сего»
Стала лесная коряга.

Все мы немного у жизни в гостях,
Жить — это только привычка.
Чудится мне на воздушных путях
Двух голосов перекличка.

Двух? А еще у восточной стены,
В зарослях крепкой малины,
Темная, свежая ветвь бузины. . .
Это — письмо от Марины.

1961

* * *

Вот она, плодоносная осень!
Поздновато ее привели.
А пятнадцать блаженнейших весен
Я подняться не смела с земли.
Я так близко ее разглядела,
К ней припала, ее обняла,
А она в обреченное тело
Силу тайную тайно лила.

1962

ПРИМОРСКИЙ СОНЕТ

Здесь все меня переживет,
Все, даже ветхие скворешни
И этот воздух, воздух вешний,
Морской свершивший перелет.

И голос вечности зовет
С неодолимостью нездешней,
И над цветущею черешней
Сиянье легкий месяц льет.

И кажется такой нетрудной,
Белея в чаще изумрудной,
Дорога не скажу куда. . .

Там средь стволов еще светлее,
И все похоже на аллею
У царскосельского пруда.

1958

В ВЫБОРГЕ

О. А. Л—ской

Огромная подводная ступень,
Ведущая в Нептуновы владенья, —
Там стынет Скандинавия, как тень,
Вся — в ослепительном одном виденье.
Безмолвна песня, музыка нема,
Но воздух жжется их благоуханьем,
И на коленях белая зима
Следит за всем с молитвенным вниманьем.

1964

* * *

Земля хотя и не родная,
Но памятная навсегда,
И в море нежно-ледяная
И несоленая вода.

На дне песок белее мела,
А воздух пьяный, как вино,
И сосен розовое тело
В закатный час обнажено.

А там закат в волнах эфира
Такой, что мне не разобрать,
Конец ли дня, конец ли мира,
Иль тайна тайн во мне опять.

1964

НЕОПУБЛИКОВАННОЕ

ПАМЯТИ М. Б—ВА

Вот это я тебе, взамен могильных роз,
Взамен кадильного куренья;
Ты так сурово жил и до конца донес
Великолепное презренье.
Ты пил вино, ты как никто шутил
И в душных стенах задышался,
И гостью страшную ты сам к себе впустил
И с ней наедине остался.
И нет тебя, и всё вокруг молчит
О скорбной и высокой жизни,
Лишь голос мой, как флейта, прозвучит
И на твоей безмолвной тризне.
О, кто поверить смел, что полоумной мне,
Мне, плакальщице дней погибших,
Мне, тлеющей на медленном огне,
Всё потерявшей, всех забывшей, —
Придется поминать того, кто, полный сил,
И светлых замыслов, и воли,
Как будто бы вчера со мною говорил,
Скрывая дрожь предсмертной боли.

Фонтанный дом
1940

СЛОВО О ЛОЗИНСКОМ

С поэтом и переводчиком М. Л. Лозинским Ахматову связывала многолетняя дружба, зародившаяся в те далекие годы, когда он был секретарем редакции «Аполлона». Еще в 1912 году, в год выхода первого сборника стихов Ахматовой, М. Л. Лозинский посвятил ей одно из лучших своих стихотворений.

Пятьдесят четыре года спустя голос А. А. Ахматовой прозвучал в телевизионной передаче, посвященной творчеству ее друга. Вот текст этого выступления, написанного по моей просьбе в мае 1965 года.

Е. Эткинд

С Михаилом Леонидовичем Лозинским я познакомилась в 1911 году, когда он пришел на одно из первых заседаний «Цеха поэтов». Тогда же я в первый раз услышала прочитанные им стихи. Я горда тем, что на мою долю выпала горькая радость принести и мою лепту памяти этого неповторимого, изумительного человека, который сочетал в себе сказочную выносливость, самое изящное остроумие, благородство и верность дружбе. В труде Лозинский был неутомим. Пораженный тяжелой болезнью, которая неизбежно сломила бы кого угодно, он продолжал работать и помогал другим. Когда я еще в 30-х годах навестила его в больнице, он показал мне фото своего разросшегося гипофиза и совершенно спокойно сказал: «Здесь мне скажут, когда я умру».

Он не умер тогда, и ужасная, измучившая его болезнь оказалась бессильной перед его сверхчеловеческой волей. Страшно подумать, именно тогда он предпринял подвиг своей жизни — перевод «Божественной комедии» Данте. Михаил Леонидович говорил мне: «Я хотел бы видеть «Божественную комедию» с совсем особыми иллюстрациями, чтоб изображены были знаменитые дантовские развернутые сравнения, например возвращение счастливого игрока, окруженного толпой льстецов». Наверно, когда он переводил, все эти сцены проходили перед его умственным взором, пленяя своей бессмертной живостью и великолепием, ему было жалко, что они не в полной мере доходят до читателя. Я думаю, что не все присутствующие

здесь отдают себе отчет, что значит переводить терцины. Может быть, это наиболее трудная из переводческих работ. Когда я говорила об этом Лозинскому, он ответил: «Надо сразу, смотря на страницу, понять, как сложится перевод. Это единственный способ одолеть терцины, а переводить по строчкам — просто невозможно».

Из советов Лозинского-переводчика мне хочется привести еще один, очень для него характерный. Он сказал мне: «Если вы не первая переводите что-нибудь, не читайте работу своего предшественника, пока вы не закончите свою, а то память может сыграть с вами злую шутку».

Только совсем не понимающие Лозинского люди могут повторять, что перевод «Гамлета» темен, тяжел, непонятен. Задачей Михаила Леонидовича в данном случае было желание передать возраст шекспировского языка, его непростоту, на которую жалуются сами англичане.

Одновременно с «Гамлетом» и «Макбетом» Лозинский переводит испанцев, и перевод его легок и чист. Когда мы вместе смотрели «Валенсианскую вдову», я только ахнула: «Михаил Леонидович, ведь это чудо! Ни одной банальной рифмы!» Он только улыбнулся и сказал: «Кажется, да». И невозможно отделаться от ощущения, что в русском языке больше рифм, чем казалось раньше.

В трудном и благородном искусстве перевода Лозинский был для XX века тем же, чем был Жуковский для XIX-го. Друзьям своим Михаил Леонидович был всю жизнь бесконечно предан.

Он всегда и во всем был готов помогать людям, верность была самой характерной для Лозинского чертой.

Когда зарождался акмеизм и ближе Михаила Леонидовича у нас никого не было, он все же не захотел отречься от символизма, оставаясь редактором нашего журнала «Гиперборей», одним из основных членов «Цеха поэтов» и другом нас всех.

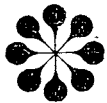
Кончая, выражаю надежду, что сегодняшний вечер станет этапом в изучении великого наследия того, кем мы вправе гордиться как человеком, другом, учителем, помощником и несравненным поэтом-переводчиком.

Когда весной сорокового года Михаил Леонидович держал корректуру моего сборника «Из шести книг», я написала

ему стихи, в которых все это уже сказано:

М. Л. Лозинскому

Почти от залетейской тени
В тот час, как рушатся миры,
Примите этот дар весенний
В ответ на лучшие дары, —
Чтоб та, над временами года
Несокрушима и верна,
Души высокая свобода,
Что дружбою наречена,
Мне улыбулась так же кротко,
Как тридцать лет тому назад...
И сада Летнего решетка
И оснеженный Петроград
Возникли снова в книге этой
Из мглы магических зеркал.
И над задумчивою Летой
Тростник оживший зазвучал.



Александр Гитович

ИЗ ЦИКЛА «ПОДРАЖАНИЕ ДРЕВНИМ»

СТИХОТВОРЦУ

Что ты народу
Преподнес в подарок,

Что дорогое
У тебя он взял?

Сознайся: ситец твой
Хотя и ярк,

Но в сущности
Дешевый матерьял.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Те, кого я чту
Благоговейно,

Мне простили б
Вольность этих строк —

Было одиночество
Эйнштейна,

Был когда-то
Пушкин одинок.

Человек —
Он по своей природе

Видит дальше
Дома и двора.

Те, кто стосковались
О свободе,

Те не лгут —
И всем хотят добра.

ИЗ КНИГИ «ПИРЫ В АРМЕНИИ»

ВООБРАЖАЕМОЕ СВИДАНИЕ С ОВАНЕСОМ ШИРАЗОМ

Неправильные октавы

..Больше ничего
не выжмешь из рассказа моего.

А. Пушкин

1

Нам ненавистны варварские пьянки,
Мы пьем степенно, Ованес Шираз, —
И, если это правда без прикрас,
Закажем, друг, по порции солянки
Такой, где, радуя голодный глаз,
Блестят маслины, как глаза армянки,
Что многократно, но не впопыхах,
В твоих изображаются стихах.

2

Вот это значит уважать культуру,
А не бесчинствовать в дыму и мгле,
Где пьют пажоны «под мануфактуру»,
Чтоб через час валяться на земле...

3

Обед по-царски и шашлык по-карски —
Синонимы. Тут разных мнений нет.
Мы не нуждаемся ни в чьей указке,
Чтоб сочинить наш княжеский обед:
Пока есть деньги — мы живем,
как в сказке,
Ну, а наутро, чуть забрезжит свет,
Мы дома вывернем свои карманы
И как-нибудь опять нальем стаканы.

4

И вот плывут, не ведая смущенья,
Как равные — Солянка и Шашлык:
То двух культур, достойных восхищенья,
Немой, но выразительный язык,
И дух взаимного обогащенья
Над ними вьется, важен и велик.
И, понимая это, мы запьем
Солянку — водкой, а шашлык — вином.

5

Могучей Кулинарии наука —
Ты хороша и ныне, как в былом,
Ты и теперь, не зная слова «скука»,
Объединяешь нас таким теплом,
Что даже фаршированная щука
Была бы тут не лишней за столом.
Хотя тогда, Шираз, придется снова
Потребовать у девушки спиртного.

6

«Да будет так, — кивает Ованес, —
Я замечаю, что с твоим приездом
В меня как будто бы вселился бес,
Он прямо в душу, окаянный, влез,
Усевшись там определенным местом,

И не видать, чтоб скоро он исчез.
И если это, друг мой, предпосылка,
То следствием — пусть явится бутылка».

7

По мне, хоть две бутылки: я не жмот —
Они ускорят ровный ритм рассказа, —
Но люди скажут, что виновен тот,
Кто совратил непьющего Шираза,
Который духом трезвости слывет
От Закавказья до Владикавказа, —
Я не хочу, чтоб от меня народ
Шарахался, как от дурного глаза.
И так тревога прибавляет сил,
Что я октаву эту удлинил.

ЗАМЕТКИ ПЕРЕВОДЧИКА

Когда Пушкин создавал и создал наивысшую гармонию русского стиха, никем еще не превзойденную, когда он создал в поэзии гармонию юности, а потом гармонию зрелости и старости, он не знал о существовании великих китайских поэтов.

Современные читатели китайской классики — я говорю сейчас о ее наивысшем расцвете, т. е. о Танской эпохе — могут подумать, что эта поэзия создана стариками. На самом деле люди, которые создавали эту поэзию, отнюдь не были людьми преклонного возраста. Но всеобщее уважение, которым была окружена поэзия тех времен, и всенародное уважение к старости людей, проживших большую жизнь и умудренных опытом, требовали от поэзии не юношеской восторженности, а тех голосов, которые бы этой мудростью, возрастом и зрелостью обладали.

Замечательно, что Пушкин, погибший в возрасте 37 лет, писал в последние годы своей жизни так, как будто он уже вступил в «период долголетия», о котором говорит одна из восточных религий, т. е. возраст, начинающийся с 60 лет. В са-

8

А впрочем — пусть десятки зорких глаз,
Слегка знакомых или незнакомых,
Всё это видят: нам пришлось не раз
Спокойно пить в прославленных
хоромах...

9

И что ж? Мы — живы. Больше ничего
Не выжмешь из рассказа моего.

мом деле: в каком возрасте пишутся такие стихи?

Поредели, побелели
Кудри, честь главы моей,
Зубы в деснах ослабели,
И потух огонь очей.

«Зубы в деснах ослабели» — так писал Пушкин со своей белоснежной улыбкой. Могут сказать: это из «Анакреона». Но разве это только «перевод»?

Вот оригинальное стихотворение Пушкина, написанное в том же 1835 году:

От меня вечер Леила
Равнодушно уходила.
Я сказал: «Постой, куда?»
А она мне возразила:
«Голова твоя седа».
Я насмешнице нескромной
Отвечал: «Всему пора!
То, что было мускус томный,
Стало нынче камфора».
Но Ленла неудачным
Посмеялся речам
И сказала: «Знаешь сам:
Сладок мускус новобрачным,
Камфора годна гробам».

Так писал Пушкин в триумфальном расцвете своих жизненных сил, Пушкин, который, даже будучи смертельно ранен-

ным, лежа на снегу, прицелился — рука его не дрогнула, и выстрел был точным. Пушкин швырнул пистолет и крикнул: «Браво!» Он не мог знать, что Дантеса спасет пуговица кавалергардского мундира.

Пушкин жил как летчик-испытатель, а это значит, что каждый год его жизни, по существующим ныне законам, следует считать за три года жизни поэта обыкновенного. Таким образом ему, действительно, было *очень* много лет, иначе его бессмертные строки: «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит. . .» — мы воспринимали бы не как сердечную и *естественную* мысль, а как поэтическое кокетство.

Я не знаю двух поэтов, столь близких друг другу не только по феноменальному своему мастерству, но и по страстному разуму государственности и гражданственности, которые пронзили всю их поэзию. Эти два поэта — Ду Фу и Пушкин. Эти два титана, может быть единственные в мире, ни разу не поступились волшебством формы своих стихов во имя злободневной удачи. У них — двоих — просто не возникло даже малейшей необходимости отделить гражданственную страсть от своего всемасштабного и в то же время почти ювелирного искусства.

Есть могущество Данте и могущество Цюй Юаня. Есть страсть Байрона и величие Гете. Но нет и не было у великих народов двух таких близких и дорогих народному сердцу поэтов, какими были для Китая Ду Фу, а для России Пушкин. Без них, без их высокого гуманизма, без их абсолютно идеальной поэтической прелести, нельзя себе представить жизнь Китая и жизнь России.

Китай, как это любили говорить древние китайцы, страна поэзии. Ни одна страна в мире не могла тогда представить такой блистательный список изумительных поэтов, какой мог представить Китай.

И все-таки постепенно выясняется, что даже в этом уникальном ареопаге Ду Фу стал первым из первых.

Гениальный Ли Бо не менее знаменит и как будто не менее любим, но у Ду Фу в его душе с самого начала

жила и развивалась сосредоточенно-сердечная забота о человеке простом и хорошем, угнетенном и голодном и в то же время человеке, наиболее озабоченном судьбами своей родины.

При его жизни он никогда не обладал славой, какой обладал его старший друг Ли Бо, которому, так или иначе, слава помогала жить. Ду Фу — он был моложе Ли Бо на 11 лет — восхищался своим гениальным другом. О соперничестве между ними, казалось, не могло быть и речи. Так думали современники, так думали друзья этих двух поэтов. Так не думал только один человек в Китае: Ли Бо. Это явствует из его стихов к Ду Фу, иногда шутливых и слегка насмешливых. А если посоветоваться с его стихами, то совершенно отчетливо видно: Ли Бо знал, что его молодой друг не только равноценен ему по необычайной своей гениальности, но где-то Ду Фу более *серьезен*. Над этой «серьезностью» Ли Бо подшучивал, посмеивался и в то же время завидовал ей в глубине своего огромного сердца.

Как бы то ни было, Ли Бо больше всего был занят собой, своей действительно из ряда вон выходящей жизнью. Он знал дни фантастического возвышения и славы, затем он был приговорен к смертной казни, которая была заменена ссылкой. Но дорога к месту ссылки, по сути дела, превратилась для него в очередное, полное пиров путешествие.

Ли Бо любил свой народ, он горевал вместе с народом, и все-таки он был где-то над народом.

Ду Фу писал о страданиях народа как бы изнутри, будучи неотъемлемой его частицей, никогда не делая разницы между собой и простыми смертными, и это не было литературным приемом — просто иначе он писать не мог. Таковы были его душа, его разум, его характер, вся его биография — иначе он не был бы тем Ду Фу, каким он был при жизни и остался в своем бессмертии.

Мы живем в трудные и великие годы всемирной борьбы за справедливость, за доброту и всеобщее человеческое братство.

Бывало так, что наше поколение завидовало старым большевикам, завидовало красноармейцам гражданской войны. Наши потомки, вероятно, так же будут завидовать нам, участникам Великой Отечественной войны, борющимся теперь за мир во всем мире.

В 1962 году по решению Всемирного Совета Мира прогрессивная общественность многих стран отмечала юбилей Ду Фу.

Ду Фу не мог и представить, что такой Совет будет когда-либо создан на нашей планете. Тем более поразительным является то, что он сумел, за год до своей смерти, 12 веков тому назад, написать стихотворение, слова которого Всемирный Совет Мира мог бы начертать на своих знаменах:

ПЕСНЯ О ХЛЕБЕ И ШЕЛКОВИЧНЫХ ЧЕРВЯХ

Наверно, городов
У нас в стране

Теперь не меньше
Тысяч десяти.

Но разве есть такой —
Скажите мне —

Где б воинов в доспехах
Не найти?

О, если б
Переplавить мы могли

Доспехи —
На орудия труда,

Чтоб каждый дюйм
Заброшенной земли

Перепахать —
И было б так всегда.

Чтобы крестьянин
Сеял в добрый час

И шелководством
Занялся опять;

Чтоб мирным людям,
Как теперь у нас,

Не надо было
Слезы проливать;

Мужчины в поле
Выполняли б долг,

И пели женщины,
Мотая шелк.

И Пушкин мечтал о мире и убеждал Мицкевича, что настанет время, «когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся».

Из всех великих поэтов далекого прошлого нет человека более близкого нам, чем Ду Фу. Великий патриот, он всегда оставался великим гуманистом. Он написал в дни войны:

...Убийству тоже есть предел, —
Хотя закон войны суров, —

Как есть пределы у всего,
Как есть границы у страны.

Конечно, армия должна
Сдерживать нашествие врагов,

Но истреблять их без числа —
Не в этом цель и смысл войны.

Если говорить современным языком политиков и дипломатов, не было в то время в мире другого поэта, который, по выражению Пушкина, обладая «государственным умом историка», предупредил бы верховную власть своей страны о том, что ее военная агрессия не принесет в конечном счете никакой пользы ни народу, ни государству, а принесет только горе и страдание.

...Стон стоит
На просторах Китая —

А зачем
Императору надо

Жить, границы страны
Расширяя, —

Мы и так
Не страна, а громада...

Но когда для Китая, для родины Ду Фу, наступили грозные часы испытаний, когда мятеж Ань Лу-шаня поверг в трепет Танскую династию — тут не мог не сказаться во всей силе могучий темперамент Ду Фу, и он, не от имени сильных мира сего, а от имени простых солдат, сказал свое патриотическое слово, которое никогда не забудут.

Пушкин был мальчиком во время

Отечественной войны 1812 года, но эта война пронзила его сердце, и, может быть, именно этим восприятием народного подвига обусловлен его глубокий и последовательный патриотизм.

Пушкину было необычайно сложно написать «Клеветникам России». Барский либерализм князя Вяземского выглядел тогда для многих куда более прогрессивным, чем обнаженно патриотические строки Пушкина. Но история показала, кто из них поистине прогрессивен и мудр в своей прогрессивности.

...От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?
Так высылайте ж нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди не чуждых им гробов.

Эти строки мы читали в годы Великой Отечественной войны, и сейчас мы бережем их и будем беречь ежечасно, а не только на черный день.

У Ду Фу было больше времени, чем у Пушкина. Его чувство природы всегда было соединено с раздумьями и размышлениями, с тем, что мы называем философией поэзии. Его восьмистишия, безупречные по самой плоти своего искусства, как бы насквозь пронизанные свет-

лым разумом и трепетным ощущением жизни, являются одним из величайших шедевров мировой поэзии.

Вряд ли когда-либо поэзия недооценивала силу политиков. Политики весьма часто силу поэзии недооценивали. Ду Фу и Пушкин жили во времена жестокого самовластия монархов. Но императоры уходят, а поэзия остается. Она соединяет народы, и ее власть над сердцами — выше любой императорской власти.

Смерть самодержца, как правило, есть его абсолютная смерть. Смерть великого поэта — так случалось нередко — становилась как бы вторым днем его рождения.

Кто в России говорит об эпохе Николая I? Мы говорим об эпохе Пушкина.¹ Кто в Китае говорит об эпохе Сюань Цзуна? В Китае говорят об эпохе Ду Фу.

Так было, и так будет.

Великий поэт знает прошлое, оценивает настоящее и предвидит будущее. Ду Фу многое знал и еще больше предвидел. Он шел в грядущее — и вот он вырвался к нам в двадцатый век, к нам, в Союз Советских Социалистических Республик, и стал нашим современником, нашим другом и соратником в борьбе.



Илья Авраменко

В МЕСТО РЕЦЕНЗИИ

Юность, юность! Побудь со мной!

М. Светлов

Так вот он, «Охотничий домик»,
последняя книга Светлова.
Не жизнь подытоживший томик,
а к жизни зовущее слово.

¹ Об этом прекрасно написала А. А. Ахматова в своем «Слове о Пушкине» («Звезда», 1962, № 2).

Не бой барабанов. не трубы,
а флейта глубин человека,
насмерть опалившего губы
в ветрах нескончаемых века.

Он с нами. Он с юностью нашей —
горящей,
далекой,
военной.

И с вашей. Меж вами как старший —
все тот же в любви неразменной.
Эпохи своей современник,
романтик, исполненный страсти, —
не ради улыбок и денег
творил он певучее счастье.
И грустный, и грешный, и шумный,
в толпе поэтической пестрой
то —
трогал элегией умной,
то —
бил эпиграммою острой.

И зная — уже умирая,
уже становившийся тенью, —
он даже у самого края
ни страхам не внял, ни смятенью.

Да будет и нами хранимо,
хранимо да будет и вами —
что мужеством не объяснимо,
но рядом стоит, за словами.

Иронии слышу веселость
за болью души, за бедою:
— Ушел я в Гренадскую волость
дорогой моей молодою.
Оставьте в покое винтовки,
салютов прощальных не надо, —
я в песню ушел о Каховке,
в легенду, в цветение сада.
Был голос мой в бурях негромок,
но свежестью равный рассвету.
Прими же — о добрый потомок! —
открытой души эстафету.
Ты внял ли, ты понял, отметил,
где жизни над смертью победа? . .

. . . Как домик охотничий светел!
Как мудро течет в нем беседа!
Тропинкой, поросшей травой,
войдите в убежище это,
послушайте слово живое,
согрейтесь у сердца поэта.

ТВОЯ ЗЕМЛЯ

Петру Глебке

Спасибо! — говорю земле твоей,
Ведь ты губами прикасался к ней,
Пил воду голубых ее криниц,
Глотками, всласть, ковшом своих
ладоней, —
Казалось, в мире глуби нет бездонней
И нет нигде светлей ее зарниц.

О, эта власть родной, как мать, земли!
Не ею ли дается людям сила?
И не она ль, чтоб так цветы цвели,
Все краски, все сокровища свои,
Всю трепетную боль своей любви
Тебе, как сыну, щедро подарила?



Анатолий Аквилев

ОСТАЮТСЯ НА ЗЕМЛЕ ПОЭТЫ

Опадает немощная завязь.
Поутру,
когда еще темно,
умирает песня,
не рождаясь,
потому что жить ей
не дано.

Просто нету в ней
звучанья, цвета,
смысла трав
и запахов зари. . .
Остаются на Земле поэты,
падают
со звонниц
звонари.

Хранить боевые обоймы,
Чтоб взять нас врасплох не могли. . .
Навечно с тобой мы, с тобой мы,
А с нами — поэты Земли.

И с нами сквозь ветер московский,
Сквозь годы труда и атак
Идет богатырь Маяковский —
Поэзии вечный маяк!

КУКОВАНИЕ И ЛИКОВАНИЕ

(Вячеслав Кузнецов)

Как солнечно, медвяно и росисто,
И хочется смеяться и парить,
Как хочется в кукушки попроситься
И всем тысячелетия дарить.

Вы слушаете? Это я кукую
В июльском околдованном бору! . .
Ах, отчего я нынче так ликую?
К добру ли это? Может, и к добру.

В. Кузнецов. «Ликованье»

Простите, Александр Сергееч Пушкин,
Но я решил над миром воспарить:
Я сам себе присвоил чин кукушки,
Чтобы весь мир стихами одарить.

«Ку-ку!» — и раздаётся кукованье,
«Ку-ку!» — я восседаю на суку.
«Ку-ку! Ку-ку!» — летит, как ликованье,
И по Вселенной катится: «Ку-ку!»

Вы слушаете? Это я кукую
В дремучем поэтическом бору,
И думаю в минуту вот такую:
К добру ли это? Видно, не к добру!

А если кто-нибудь кукует тоже,
То он наводит на меня тоску. . .
Как Пушкин говорил: спаси нас боже
От этих поэтических «ку-ку!».



Лидия Гинзбург

ВСТРЕЧИ С БАГРИЦКИМ

Так же как Эдуард Багрицкий, я выросла в Одессе. Все же по-настоящему мы познакомились хотя и в Одессе, но уже тогда, когда Багрицкий постоянно жил в Москве, а я в Ленинграде. Летом 1926 года наш общий приятель Николай Иванович Харджиев привел Багрицкого в «Аркадию», ко мне на дачу.

«Дума про Опанаса» не была еще напечатана, или был напечатан только первый ее вариант в «Комсомольской правде». Багрицкий читал ее нам. Тогда в первый раз я услышала и «Думу», и столь характерную интонацию Эдуарда. С тех пор, до конца жизни Багрицкого, мы встречались в Москве, в Ленинграде. Во время этих встреч Багрицкий всегда читал стихи — новые и старые.

Думаю, что настоящий поэт всегда читает свои стихи именно так, как нужно, несмотря на отсутствие техники, несмотря даже на недостатки произношения. Гумилев картавил, Кузмин запинаясь, но, конечно, они были лучшими чтецами своих стихов. Навсегда запомнился голос Блока, глухой и монотонный, читающий «Возмездие» (Блока я слышала один только раз, за несколько месяцев до его смерти). Но есть поэты, у которых дар чтения — это второй дар, занимающий особое место в их творческой жизни. Таким был Багрицкий, и этой чертой, при всем различии масштабов и стилей, он подобен Маяковскому.

Маяковский, замечу, читая стихи, никогда не кричал. Своим голосом, мощным, глубоким, и по-своему мягким, он владел с абсолютной точностью, и он выражал все, что хотел, без тени тех грубых нажимов, к которым прибегают нередко профессиональные чтецы стихов Маяковского.

Мое поколение прошло через многие увлечения ощутимыми поэтическими средствами. Сейчас мне кажется самым

важным другое — самое трудное для поэта: энергия скрытых поэтических средств и сила обнаженной мысли. Но и сейчас понимаю, не перечеркиваю то, что влекло нас к Багрицкому.

По всему своему психическому складу, по восприятию жизни Багрицкий был в высшей степени поэтом — с превосходным пониманием поэтического дела, со страстной любовью к стиху произносимому. Казалось, он был переполнен ритмами (хотя писал медленно и трудно). Не музыка прежде всего, а именно ритм. Не мелодичность, поглощающая слово, а ритм, его выделяющий. Он так и читал, с особой ритмической раскачкой:

Уже окунувшийся
В масло по локоть,
Рычаг начинает
Акать и окать...

Формальные элементы, как таковые, заметны только в несостоявшихся стихах, в состоявшихся — они значат. Багрицкий утверждал: «Опанас» был написан из-за синкоп, врывающихся, как маховские тачанки, в регулярную армию строк («Записки писателя»). Это не точно: не из-за, а в одновременности поэтической мысли и неотделимого от нее ритма.

Ритмы Багрицкого выражали его жизненный напор. О жизнелюбии Багрицкого говорили много. Лирика — это прежде всего разговор о самых больших жизненных ценностях, и потому поэт не может не любить то, о чем пишет. Это относится даже к самым трагическим поэтам. Ведь любовь к жизненным ценностям — условие трагического переживания их гибели, их утраты. Любовь к жизни предстает в лирике иногда в очень сложных косвенных формах. У Багрицкого речь о ней идет прямо, в лоб, хотя это любовь к трудной жизни, трудной

исторически и лично, отмеченной болезнью, нуждой, противоречиями человека переходного поколения.

Ритмы Багрицкого, его узнаваемая интонация помогали сплавлять разнохарактерные элементы в единый поэтический образ. Этот образ питали противоречия поколения Багрицкого, противоречия среды. С самого начала смешалось здесь многое: наследие русского модернизма десятых годов, литературная богема, босяцкая стихия портового города (в свое время она привлекала молодого Горького) — со всей спецификой Одессы. Потом повела за собой революция; потом гражданская война, военный коммунизм. В поэзии Багрицкого все отлагалось характерными языковыми пластами. Тут и фольклор — украинский, русский, и специально одесские диалекты, тут традиционно поэтические формулы, смешанные с самыми бытовыми словами, и язык гражданской войны и первых лет революции. Все разное, и все это Багрицкий, именно в этой пестроте. То же и с головами поэтов — современников Багрицкого: не заглушая интонации Багрицкого, они слышатся в его стихах. Недаром Багрицкий писал:

А в походной сумке —
Спички и табак,
Тихонов,
Сельвинский,
Пастернак...

Пастернаком Багрицкий увлекался, охотно говорил о нем, об его поэзии.

Из встреч с Багрицким больше всего запомнились встречи в Кунцеве (тогда это было совсем загородное место), где я бывала у него несколько раз; впервые, вероятно, в 1927 году. Потолок небольшой рабочей комнаты Багрицкого был увешан клетками с птицами. На полу, на столах стояли аквариумы, в которых жили маленькие рыбы редкостной формы и невероятных расцветок (об ихтиологической страсти Багрицкого вспоминают все, знавшие его в ту пору). Под аквариумами горели керосиновые лампы; между аквариумами ходила большая охотничья собака. Для людей была оставлена тахта у стенки; на нее можно

было садиться, ставить пепельницу и класть книги.

Багрицкий — большой, уже расплывший, со своим птичьим носом, с клоком волос, прямо свисающим на глаза, улыбался, нагнув голову набок. Читал стихи, задыхаясь от дыма (он непрерывно курил), от тяжелого астматического кашля и как будто от ритмов, которым уже тесно в груди.

Осенью 1928 года кунцевская комната выглядела несколько иначе. Птиц уже не было, Багрицкий сказал, что птиц отдал, потому что они шумели и мешали ему работать; собаку, кажется, украли. Остались рыбы, рыбы работать не мешали, но от аквариумов исходил легкий запах. Багрицкий объяснил: менять воду в аквариумах часто не следует, — это знают все подлинные специалисты. В этот день у Багрицкого собралось несколько человек; московская гостья твердой рукой открыла окно. «Не можете ли вы приезжать хоть два в неделю, — сказала жена Багрицкого, Лидия Густавовна, — он не позволяет нам открывать окна, кричит: вы хотите, чтобы мои рыбы простудились и умерли!»

В 1928 году Багрицкому материально приходилось туго. Он не жаловался, но попутно шутил на эту тему. Кто-то из присутствующих стал его убеждать написать между делом халтуру, для денег. Если жалко имени — можно под псевдонимом. Разговор весь шел в шуточном тоне. И вдруг, ломая его, Багрицкий сказал очень серьезно, как говорят о вещах, крепко продуманных:

— Не в том дело. Я всегда боюсь, что в халтуру попадет строчка из настоящего стихотворения, из будущего, понимаете? — и пропадет. Так нельзя...

Одно из проявлений блестящего профессионализма Багрицкого — его пятиминутные сонеты. Сонет писался в пять минут, по часам, тут же, на заданную кем-нибудь тему. Об этом рассказывает Олеша в своей книге «Ни дня без строчки». Рассказывает о том, как Багрицкий в аудитории одесского университета писал на доске сонет на тему «Камень»: «Крошился мел, Багрицкий шел вдоль появляющихся на доске букв, заканчивал

строку, поворачивал, пошел вдоль строки обратно, начинал следующую, шел вдоль нее, опять поворачивал... Аудитория в это время читала слово, другое, третье — и целиком всю строчку, которую получала, как подарок, под аплодисменты, под улыбку на мгновение оглянувшегося атлета».

У меня сохранился автограф одного из этих сонетов-импровизаций. Написан он в Кунцеве, в январе 1928 года, на заданную мною тему: «Одесса». Багрицкий написал его в шесть с половиной минут, то есть опоздал на полторы минуты. Он был огорчен этим, сердился и говорил, что мы, гости, мешали ему своими разговорами.

В Одессе на двух концах знаменитого приморского бульвара расположены были с одной стороны — «Белый дом», бывший дом Воронцова, с другой — большой бронзовый бюст Пушкина. Это располо-

жение Багрицкий обыграл в своем сонете.

ОДЕССА

Еще стучатся волны о маяк,
Еще играют чайки над буруном, —
А в городе мечтательном и юном
Над белым домом полыхает флаг...

Над круглой площадью тяжелый шаг —
То Воронцов встает в сиянье лунном,
Он новую теперь принес игру нам —
Глядеть на Пушкина и так, и сяк.

Ну что ж из этого! Пора в дорогу.
Глухая ругань, подымаясь к богу,
Тревожит мрак отчаянной божбой.

И кажется — с бульвара — там, с опушки,
Без ног и рук выходит мертвый Пушкин
И Воронцова вызывает в бой...¹

В поэзии Багрицкого тема Одессы настойчиво, неизменно вызывала образ Пушкина. Багрицкий преданно любил Пушкина — как подобает русскому поэту.



Эдуард Багрицкий

ЗАПИСКИ ПИСАТЕЛЯ

Публикуемая статья Эдуарда Багрицкого «Записки писателя» (журнал «Октябрь», 1929, № 4) вводит нас в творческую лабораторию поэта.

Работая в архиве Э. Г. Багрицкого, в ИМЛИ им. Горького Академии наук СССР, я прочитал черновые наброски этой статьи, не вошедшие в окончательный текст.

Вот они.

После слов «у него есть почва под ногами» следует: «Лабиринтовые — это рыбы, у которых внешний воздух задерживается в целом ряде трубочек, расположенных в жабрах. Лабиринтовые рыбы могут жить в любой воде. Они не дышат кислородом, они питаются внешним воздухом».

Далее Багрицкий переходит к теме, которую он считал тогда особо актуальной, — борьба с мещанством, с теми, кого он называл «людьми предместья».

«Теперь, когда мещанство пошло в наступление, когда на каждого поэта по разверстке приходится не меньше тысячи мещан, — поэт должен уподобиться лабиринтовым рыбам».

Он вдыхает прекрасный воздух революции, и что ему до прокисшей воды в банке, в которой он живет.

¹ Текст публикуется впервые.

Это давнишние разговоры о мещанстве, эта волюнка всем уже надоела, но эту борьбу нужно осуществить не только на бумаге, но и в быту, в личной жизни, следить за собой: смотри, брат, не омещанился ли ты, эта привычка появилась у тебя в этом году или в прошлом, устраивай себе чистку каждый день, каждый сам себе чистка — вот лозунг поэта».

Высказывания Багрицкого несомненно близки и общественной, и поэтической программе Маяковского, ставившего такие же точно вопросы в своих устных выступлениях, в стихах, помещаемых на страницах «Комсомольской правды».

Выступая против последних представителей богемы, борясь с халтурой, приспособленчеством, Багрицкий подчеркивал, что доля ответственности за это ложится и на редакции.

«В этом виноваты редакции, целиком принимающие традицию, сохранившуюся с давних времен и мешающую настоящему отношению к поэтам.

Поэт — наиболее чувствительная часть общественного организма. Это барометр, который передает малейшую неправильность воздуха. Ему мало уметь рифмовать, — он должен учиться до конца дней понимать и чувствовать время».

В. С. Азаров

Я ихтиолог, и это одно из моих основных занятий. Поэзия и ихтиология уживаются в моем доме. Великое дело, когда поэт думает не только о поэзии. У него есть почва под ногами.

Стихи возникают неожиданно. Ходишь часами по городу, бродишь с собакой и ружьем по лесу — ничего не получается. Но вот под ноги подвернулся камень. Ты спотыкаешься — и цепь ассоциаций начинает работать. Первый образ возникает случайный, как выстрел из-за угла, — и машина задвигалась.

Начинается творчество.

Стихотворение — это прототип человеческого тела. Каждая часть на месте, каждый орган целесообразен и несет определенную функцию.

Я сказал бы, что каждая буква стиха похожа на клетку в организме, она должна биться и пульсировать. В стихе не может быть мертвых клеток.

Аппендицит абсолютно невозможен. Стихотворение рождается без слепой кишки.

Я работаю медленно. После столкновения с камнем я стараюсь тотчас записать все, что мне пришло в голову. Но через несколько дней все написанное кажется мне до того безобразным, что для приведения всей работы в более приличный вид приходится затратить несколько месяцев.

Ритм ощущается, как подземный гул. «Музыка прежде всего». «Опанас» был написан из-за синкоп, врывающихся, как махновские тачанки, в регулярную армию строк. «Камнем» была украинская песня, которую мне спела жена.

До «Опанаса» была написана «Песня об Устине» — вариант песни, спетой мне женой. Это было 120-строчное размышление о бедной казачке, утопившей сына. Но размер был тот же, что и в «Опанасе». Мне показалось, что таким размером лучше всего можно написать поэму о гражданской войне.

Сейчас я занимаюсь разработкой композиции лирических стихотворений. Футуристы и их великий разрушитель Маяковский в корне отбросили стихотворную композицию. Они заменили ее огромной эмоциональной нагрузкой, фонетикой, неологизмами, они дали возможность слову расцвести необъятным цветом, но композиция была забыта ими. Нам, конструктивистам, приходится больше всего работать над ней. Восстановив поэму и стихотворный роман, мы должны возобновить и лирику. Но наша лирика будет основана на новых композиционных принципах. Мы отметем лирическую абстракцию. Мы подкрепим композицию сюжетом и внесем в лирику яркую политическую струю. Вот над чем работаю и я.

Теперь о критике. Я не знаю ни одной дельной статьи о поэтах. Все они бьют мимо цели. Критики забывают о том, что поэт и прозаик работают не только на различном материале, критики забывают о том, что поэт и прозаик сами «сделаны» из разного материала.

Об отношении к поэтам и беллетристам. Поэтов не уважают. Я видел, как один редакционный юноша разговаривал с лучшим поэтом Союза, не предложив ему сесть, и как тот же юноша стремглав тащил стул, когда пришел очень плохой, но очень видный собою беллетрист. Это обвинение не голословно. В этом виновата традиция. Беллетристы несут на своих плечах многовековой груз русской литературы. Даже внешний вид их специально приспособлен к этому. Причем чем хуже беллетрист, тем больше традиций сидит на его лице. Вот за эту-то традиционность их и уважают. Они в атмосферу сегодняшнего дня вносят дух «славного прошлого».

Опираясь на полные тома сочинений, они чувствуют себя памятниками, у подножья которых суетятся редакторы, срок которым — мгновенье.

У поэтов традиция другая. По традиции поэт — пьяница. Поэт — ненадежный человек. Вот с этой-то традицией нам приходится (и я уверен, что еще долго придется) драться. Сейчас выра-

батывается новый тип поэта — поэт-ученого, поэт-общественника. Наша общественность должна прийти на помощь для выработки такого типа. Она должна как можно тесней связать поэта с производством, направлять его в экспедиции, вводить в клиники и лаборатории. Мы, поэты, должны биться за первенство своего искусства. Мы должны в корне перестроить мнение о поэте-богемце. От нас должна начаться новая традиция. Все это уже говорилось неоднократно, но трудно бороться с недоверчивостью окружающих. Редакционные люди не представляют себе, что поэт может заниматься какой-либо другой работой, помимо кропания стихков. Это не вяжется с обывательским представлением о поэте. Когда на вопрос: «Что вы пишете сейчас?» — я ответил: «Исследую способы размножения рыб», — человек из редакции, спрашивавший меня, повесил трубку, не попрощавшись.

О стихотворных переводах. На рынок выбрасываются тысячи тонн зарубежной прозаической макулатуры. И ни одной строчки переводных стихов. Мы не знаем, что пишут поэты за границей и вообще есть ли там поэзия. Больше того: мы не знаем, что пишут поэты наших национальностей.

Дорогу переводным стихам!



Йоле Станишич

ИЗ КНИГИ «УПРЯМЫЕ СКАЛЫ»

С сербохорватского

ПЕСНЯ ПОГИБШИХ

Мы погибли.
Но снова родимся и вновь
Будем в светлые росы и в солнце влюбляться,
И смола сосняка, наша знойная кровь,

Будет в жилах звенящих
Бродить и смеяться.

Будут сосны расти на вершине горы,
И зеленые ветры сплетут наши руки
С золотыми лучами апрельской зари,
И к цветам
Наши тени шагнут
Из разлуки.

Будут сосны расти и касаться небес,
И когда пронесутся над кронами тучи —
От росы отряхнется проснувшийся лес
И кудрявые кроны
Зажгутся
На круче. . .

А о том, что погибли мы, верный наш друг,
Никогда, никогда не рассказывай маме!
Как знаменам,
Стоять нам
На вечном ветру,
На Земле,
На высотах,
Не отданных нами.

Перевел А. Аквилев

ДА НЕ ПОГИБНЕТ ПЕСНЯ!

Люди себе отрубают руки.
Крылья в крови
омочили вóроны.
Борт корабля не качают волны
в мертвом порту,
где ржавеют звуки.

В огненных космах,
в дыму жилища.
Матери словно под ветром гнутся,
горестный крик
искажает лица:
«Никогда сыновья не вернуться. . .»

Берегом ветры голода свищут.
Злоба змеей обвивает ноги.
Небо и море
друг друга ищут
ночью,
расстрелянной у дороги.

На каменистых крутых вершинах
встречая солнечные восходы,
гибнут поэты у гнезд орлиных,
чтоб не погибла
песня свободы.

Перевел Г. Пагирев

СВОБОДА

Утром холмы молодеют.
Солнцу навстречу вздымаются горы.
И забываются слезы. . .
Утром Свобода, хромяя,
щуря от пота сожженные веки,
черная — с порохом, ввевшимся в поры,
страшная — высушил голод и холод,
входит в свои города.
И, улыбаясь друзьям уцелевшим,
дарит им знамени древко тугое.
А на музейные полки бросает
оружие теплое — только из боя.
Руки Свободы
грезят о поручнях плуга,

и о свирели над зеленью луга,
и о штурвалах остывших заводов.
Притчи и песни недавних годов
станут трофеями поздних каминов
и детских садов.
Вот, посмотрите, идет Свобода,
со шрамом на щеке, прихрамывая.
Голубям протягивает ладони на берегах
озер и рек.
А воспоминания о походах забывает
на мраморе
площадей
и на полках библиотек.

Перевел С. Давыдов



Риза Халид

ВОСЬМИСТИШИЯ

С татарского

Кайсыну Кулиеву

* * *

Дни — лишь страницы в мудрой книге лет,
Я их читаю на пути суровом
И все мечтаю в ней оставить след
Хоть бы одной строкою или словом.

А сколько нужно их прочесть в пути,
По скольким подниматься тропам новым,
Чтоб все-таки в конце концов взойти
Туда — к вершинам гор седоголовым?

* * *

Скажи, ты помнишь тот счастливый год,
Когда весна цвела и молодела,
Когда я жил, не ведая невзгод, —
В те дни ты только счастья мне хотела.

Сегодня же, когда мой небосвод
Закрыло пеленою снегопада,
Когда меня огнем и в холод жжет, —
Ты думаешь, и счастья мне не надо?

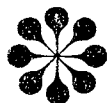
Перевел Б. Кежун

* * *

Почему-то сегодня не пишется мне.
Я — как тот рыболов, что, к воде наклонясь,
Посылает молитвы бегущей волне, —
Не идет на крючок ни плотва, ни карась.

Почему-то сегодня не пишется мне.
Я — как некий охотник, что с видом глупца
Все тропинки в лесу исходил по весне —
И не слышал ни дятла, ни трели скворца. . .

Перевел Г. Пагирев



Вадим Шефнер

Л И Л И Т

1

Что предание говорит?
— Прежде Евы была Лилит.

Прежде Евы Лилит была —
Та, что яблока не рвала.

Не женой была, не женой —
Стороной прошла, стороной.

Не из глины, не из ребра —
Из рассветного серебра.

Улыбнулась из тростника —
И пропала на все века.

2

Все в раю как будто бы есть,
Да чего-то как будто нет.
Все здесь можно и пить, и есть —
На одно лишь в раю запрет.

Ходит Ева средь райских роз,
Светит яблоко из ветвей.
Прямо с яблони змей-завхоз
Искушающе шепчет ей:

— Слушай, я же не укушу,
Скушай яблочко задарма,
Я в усущку его спишу —
Мы ведь тоже не без ума.

Ева яблоко сорвала —
Затуманился райский дол.
Бог ракеты «небо — земля»
На искомый квадрат навел.

Бог на красные кнопки жмет —
Пламя райские рощи жнет.
Бог на пульте включил реле —
Больше рая нет на земле.

Убегает с Евой Адам —
Дым и пепел по их следам.

3

У Адама с Евой — семья,
Подрастающие сыновья.

Авель сеет овес и рожь,
Отдыхает, сев на пенек.

Каин в елку втыкает нож —
Тренируется паренек.

Объезжает Адам коней,
Конструирует первый плот.

— А в раю-то было скучней,
Ты помог нам, запретный плод!

А в раю-то было пресней,
Заработанный хлеб — вкусней.

А в раю-то мы спали врозь,
Этот рай — оторви да брось!

4

Улетающие журавли
Прокурлыкали над рекой.
Электричка прошла вдали —
И опять на земле покой.

На рыбалке Адам сидит,
Сквозь огонь в темноту глядит.

Кто там плачет в костре ночном,
Косы рыжие разметав?
Кто грустит в тростнике речном,
Шелестит в осенних кустах?

Кто из облака смотрит вниз,
Затмевая красой луну?
Кто из омуты смотрит ввысь
И заманивает в глубину?

Никого там, по правде, нет —
Только тени и лунный свет.

.

Не женой была, не женой,
Стороной прошла, стороной.

Никогда не придет Лилит —
А забыть себя не велит.



Нина Королёва

ПРАЗДНИК ОКОНЧАНИЯ БОЛЬШОЙ СТРОЙКИ

*Посвящается строителям
Волго-Балтийского канала*

Когда в лесу каналы, как река,
Прозрачно и неровно разольются
И теплоходы в шлюзе разминутся,
Качаясь, как большие облака,

Когда водой заполнится канал
И баржи, точно ладожские льдины,
Пройдут его, когда кручение глины
В воде осядет, — где твой самосвал,
Железный МАЗ, очутится тогда?

Какой цемент загрузит или гравий?
Мне кажется, меня ваш праздник

бравый

Друзей лишает больше, чем страда
Рабочая. Тогда, мне говорят,
Снесет бульдозер белые бараки,
Где жили люди, где кричали: «Райка,
Пойдем на танцы!» И они сгорят
Зелеными, как дерево, кострами,
Травой зеленой, вьющейся как пламя,

И где всю ночь дежурили стрелки —
Взойдут грибы, весенние сморчки.

Пройдет бульдозер, сильный, точно бык,
И вот мостков не станет, и обочин,
И зеркала, в котором Зоя Бык
Повязывала тоненький платочек.

И станет лес черемухой бел!
И птички дети сядут в птичьей школе
Там, где пеленки, белые как мел,
Сушились на веревочном приколе,
Где называли Родиной места
Далекие — Украину и Волгу,
А жили здесь потрудну и подолгу, —
Чтобы осталась только красота
От жизни их: прозрачная вода —
Она была густа, как грязь! — Не верят!
Бетонный шлюз. Черемуховый берег.
Форель в реке. Извечно. Навсегда.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ТЕНЯМ МОИХ ПРЕДКОВ

Я рябину отыщу в лесу,
Вырою лопатой и руками,
В электричке в город привезу —
Меж людьми, как меж материками,
Между лиц, личинок и личин,
Пригибаясь от земного веса.
Господи, о сколько есть причин
Мне рябину вырыть среди леса!
У корней шевелится земля,
Как жуки, в ней копошатся травы.
Неужели все мои поля —
Это три могилы у канавы,
Три судьбы, оборванные здесь
Старостью, болезнью и решеньем?
Почему мне кажется, что есть

Поле с травянистым возвышеньем,
Где моя пшеница не растет,
Где мои стрекозы не летают,
Где никто и кур не перечтет
И крыльцо никто не залатает?
Я недаром заходила встарь,
Кровью предков по земле тоскуя,
В магазин «Садовый инвентарь»,
Над кривыми тятками колдуя, —
Души предков рвались из меня,
Точно я им жизнь вернула снова:
Вот казак — купил себе коня!
Вот кузнец — сковал ему подкову,
Вот рябину вырыл землероб,
Чтобы дети ягоды клевали.

Сокруша свой деревянный гроб,
Он глядится в голубые дали.

Разрастайся, лес моей души,
Легонькими птицами дыши. . .

* * *

Вошли замедленно и тихо
В края краснеющей хвои,
Где нелюдимая лосиха
Глотала синие ручьи,

Потом, шальная после бега,
О сосны бок чесала свой.
Багряно-красны сыроеги,
С мое лицо величиной!
Войдите в лес, во мхах пошарьте
С грибным ведром или кульком,
Обмыв лисички, с луком жарьте
На постном масле с угольком,
Потом поймите гребни в чайник
От Селигеровой волны,
И станьте счастливы отчаянно,
Что нет на Родине войны!
И тишина — лесное радио —
Пищит утятами в траве,
И пахнет Родиной, как травами,
Звенит, как птица в синеве!



Игорь Григорьев

ПУТЬ

Не злее моя дорога
Людской —
А не пух да шелк.
Не кроюсь: продрог немного —
Всю жизнь нараспашку шел.

А жизнь длины подходящей,
Хотя иной не длинней:
Потопай с мое, сидящий, —
Четырнадцать тысяч дней!

Не крепче других мотало
Меня.
Но бывало всяк:
Хлебнул огня и металла
И пять штыковых атак.

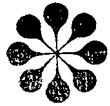
Сполна и любил, и верил,
И брал, и платил
Что мог.

Перед озябшими двери
Не замыкал на замок.

И странно, и горьковато
Оглядываться назад:
Казалась иным твоя хата
С краю, старый солдат.

Поеживаюсь, вздыхаю
И говорю наперед:
— Что ж, ладно,
С краю — так с краю, —
Переболит, пройдет.

И если хмурая осень
Залучит тебя в холодá, —
Прохожий,
Милости просим:
Мой дом открыт навсегда!



Светлана Молева

КРУШИНА

Сосны — к ста годам,
Елки — к ста годам,
А меж ними-то крушина,
Черна ягода!

Ветки к травам гнет,
Росну сладость пьет.
Неприглядна, несъедобна,
И к чему растет? ..

И случись со мной
(Не со мной одной) —
Я корзинку крушины
Принесла домой.

Бабка охала,
Сечкой грохала:
— У тебя глаза по ложке!
Что ж ты хлопала?

Бабка кривит рот:
— Ну и ну, народ:
Кто такую растеряху
за себя возьмет? ..

На ее вопрос
Хохочу до слез:
Тот, кто сватался наемни, —
Сам корзинку нес!



Александр Решетов

В ИЗБЕ

Стоит изба в снегу по окна,
В ней свет горит.
Мороз сердит.
В ней слышно нам, как издалёка
Луна
 впервые
 говорит.
Неведомая и немая,
Заговорила вдруг она,
Свои нам тайны открывая,
Земная спутница — Луна.
И мне не верится, что Пушкин,
Те, кто мечтал под ней до нас,
К ее сигналам равнодушны,
Не глянут на нее сейчас. . .
— Дела! — гудит в избе хозяин.
— Дела! —
Мы на мороз идем.

Мы не скрываем то, что знаем,
Толкуя о своем земном.
Вот смотрим с одного сугроба
Мы с новой думой на Луну,
Разбудораженные оба
Так, что нам долго не уснуть.
В избе тепленью печка дышит.
Придвинув к ней мою кровать,
Хозяин говорит о крыше:
— Ослабла. Шиферу б достать. —
Лежим, а все беседа длится.
Простые малые мечты,
Как трудно вам порою сбыться!
— Ты спишь, хозяин?
— Сплю, как ты. —
И снова, но уже бесстрастно
Он шепчет, как с Луны: — Дела. . . —
Храпит хозяин.

Как прекрасно,
Что печка русская тепла!
Стань на избе надежной, крыша!
Друг космонавт, не обессудь:
Когда к Луне помчишь и выше,

Надменным и на ней не будь
К земным делам —
 большим и малым.
Ведь не свершайся под Луной
Они в веках, ты б небывалый
Путь нынче не увидел свой.

* * *

Хорошо в труде суметь и сметь,
Благодатью жизни награждаться.
А того, что неминуха смерть,
Нам по-детски стоит ли пугаться?

Ждать ее не надо никогда,
Торопиться умирать — тем боле.
Торопись в деревни,
В города,
В лес зеленый,
В золотое поле. . .

Не пройдет он мимо, день такой —
Серый будень
Или чей-то праздник:
Под березой белой на покой
Без тревог улягусь, без боязни.

И не потому, что все свершил,
Что причин тревожиться не стало, —

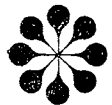
Нет, хватало их, покамест жил,
И, пока живую, не будет мало.

Я из тех, над кем гремела смерть,
Кто не миг,
А годы
Был с ней рядом.
Видно, надо много соли съесть,
Чтобы жизнь и смерть понять как надо.

Смерть своя
Для нас, живых, — секрет.
Безответность на любимых лицах
Тяжела.
Но горше доли нет —
Раньше смерти с жизнью разлучиться.

В жизни есть увечья,
Есть тюрьма,
И за подвиг — не всегда награда. . .
Торопить, не потеряв ума,
Никогда свой смертный час не надо.

А. И. Хვაгову



Лариса Никольская

ТРИ МИНУТЫ КИНОХРОНИКИ

Л. Ф. Мячковой

В унтах,
В комбинезоне сером,
Не изменившийся с тех пор. . .
О, как снимал его усердно
Дотошный кинохроникер!

С небрежливостью ребенка,
С веселой щедростью юнца
Он отражал на кинопленте
Все черточки его лица.

Сейчас он встанет, улыбнется —
В глазах волнение,
Но не страх —
И улетит.
И не вернется.
И разобьется там,
В горах.

А в тысячах кинотеатров
Он к самолету вновь пойдет,
И день его в коротких кадрах
За три минуты промелькнет.

Всегда вот так,
И не иначе:
Нагнулся, карту в руки взял. . .

* * *

Старинного стиха наивен слог.
Чужие нам смешны воспоминанья.
Но минет срок —
И для любой из строк
Придет пора иного пониманья.

Открыв нам тайны тайные свои,
В нас отзовутся,

И будет женщина, не плача,
Идти за ним из зала в зал.

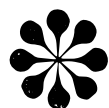
Когда в гудящем кинозале
Стихает шум и меркнет свет,
И женщина, как на вокзале,
Сидит, зажав в руке билет,

Как будто вновь ведет дорога
Ее в далекое, свое, —
Я замираю перед строгой
И горькой верностью ее.

О, если б мне такое право —
В миллионный раз,
Как в первый раз,
Глядеть в тебя светло и прямо,
Не отводя, не пряча глаз!

Смутные вначале,
Звонящая восторженность любви,
Прозрачная возвышенность печали.

И в быстрый век, лишенный тишины,
Вдруг с поздним удивленьем ощутим мы,
Что все воспоминанья — так грустны
И все утраты — так невозвратимы. . .



Михаил Дудин

ЦВЕТ ЖИЗНИ — КРАСНЫЙ ЦВЕТ

В процессе самой революции рождались ее вечные символы, и их условные знаки становились безусловной сутью бесчисленной армии борцов за самый справедливый мир человеческих отношений. «Мы наш, мы новый мир построим» — эти слова превратились в органи-

зующую силу, в единство миллионов характеров, в характер революции, в клятву верности.

Но если я гореть не буду,
Но если ты гореть не будешь,
Но если мы гореть не будем, —
То кто ж тогда осветит мрак!

Я помню Назыма Хикмета, я помню этого железного коммуниста с открытой душой ребенка, которая светилась в его чистейших голубых глазах, под высоким лбом мыслителя, окаймленным непокорными седеющими кудрями. Люди доброй воли вырвали его из тюремного застенка, и он приехал к нам, на родину коммунизма. Он радовался и свободе, и вновь обретенным друзьям. Я помню, как мы сидели в гостиной нашего Дома писателя на берегу Невы, как Назым подходил к широкому окну и вглядывался в голубеющий контур «Авроры», стоящей на вечном приколе у противоположного берега. На флагштоке «Авроры» бился, переливался, горел красный флаг, и его отсвет ложился на бледное лицо Хикмета, на его улыбку, добрую, доверительную, солнечную.

Потом Назым читал стихи, и его гортанный голос и ритм этого голоса, подчеркнутый скупым и властным жестом руки, делал нас, всех присутствовавших на этой встрече, людьми одного костра, давным-давно близкими людьми.

Таким он и остался в моей душе, вечно живым, вечно беспокойным, с отсветом пламени от флага «Авроры» на прекрасном, улыбающемся миру лице.

Он был коммунистом ленинской вычки.

И победа мировой революции для него была делом времени. Он уже умел видеть ее результаты, ее возможности, уходящие вдаль. Гармония революции была гармонией его поэзии.

Революция сделала его мировым поэтом.

И его поэзия, переведенная на сотни языков мира, продолжает бороться за революцию.

Революция и поэзия. Это сестры.

Их родство заставило Эжена Потье написать «Интернационал». Их родство заставило Кржижановского написать вариант русской «Варшавянки». Их родство привело сумрачного Блока к красногвардейскому костру и продиктовало ему:

Революционный
Держите шаг.

Неугомонный
Не дремлет враг!

Эти слова стали паролем для всех часовых революции.

Клементу Аркадьевичу Тимирязеву в июне 1917 года шел семьдесят пятый год. Было так называемое двоевластие, политическая неразбериха, но старый ученый, когда-то сказавший: «Наука и демократия — тесный союз знания и труда — десятки лет был моим призывным кличем», — мудрой и молодой душой своей сумел понять неизбежную правду времени. Вот сейчас передо мной лежит эта пожелтевшая от времени брошюра, написанная великим ученым-провидцем, и я читаю, читаю, как стихи, его откровение:

«...«Красное знамя» — я умышленно привожу и эти два слова, потому что знаю, что мне мои коллеги из буржуазного лагеря не могут простить то, что я стал под это знамя как раз в те дни, когда темные силы всего мира набросились на него в надежде еще раз потопить его в крови. Красное знамя — это символ грядущей победы труда и знания над их врагами».

Я читаю эту брошюру дальше. Я читаю ее, как поэму, как новую «Одиссею» человеческой души, правдивой и высокой. И так до самого конца — все тот же высокий строй, взволнованный поэтической мудростью: «Перед человечеством стоит все тот же выбор: свободные народы или послушные бичу стада.

Развернет ли человечество свое красное знамя, или исступленным и трусливым врагам «красной тряпки» удастся еще раз волочить его в лужах пролитой ими крови? Раздастся ли победный гимн свободе и миру всего мира, или он потонет в диком вопле поклонников войны: «Кровушки! Кровушки! Кровушки! Крови посвежей!» Вот в чем вопрос».

Красное знамя!

Мы, мое поколение сверстников революции, давали под этим знаменем пионерскую клятву. Мы ходили под этим знаменем через лобовой огонь пулеметов

в атаку, мы спасали это знамя по казематам и лагерям смерти. Мы водрузили это знамя на рейхстаге. Мы победили с этим знаменем величайшее зло двадцатого века — фашизм.

Оно, наше знамя, цвета нашей крови. Оно завоевано нашей кровью, и суть его, величайшая его символика — в наших сердцах.

И Назым Хикмет прав: мы, коммунисты, — светим.

Я видел этот свет на Кубе. Далеко Куба от Ленинграда. А искра от ленинского костра, пылавшего перед Смольным в ночь на 7 ноября, залетела за океан, в заросли сахарного тростника, и вспыхнула красным пламенем над материком Нового Света.

Недавно у меня был в гостях колумбийский поэт Хорхе Саламеа. Мы разговаривали о Лорке. И Хорхе Саламеа — он не коммунист, он честный интеллигент — рассказал мне о том, что он был другом Лорки. На одной из книг Лорки, изданной на русском языке, Хорхе написал мне: «Моя поэзия — поэзия открытых вен». И пояснил потом: «Это так Лорка определял свою поэзию».

А я про себя припомнил Брюсова: «И песня с бурей вечно сестры».

Мы тянули красное вино «Мукузани» и вспоминали общих знакомых, а потом читали стихи. И стихи убирали расстояния и границы и во времени и в пространстве. И вместе с нами сидели Габриэлла Мистраль и Анна Ахматова, Янис Рицос и Николай Гильен.

Хорхе уехал. Уехал моим другом. И у него теперь есть друг в Ленинграде.

Хорхе изумительно читал свои стихи. Его густой выразительный голос до сих пор звучит в моих ушах. Студенты распространяют его стихи листовками. Одну

такую листовку он оставил мне на память. И вот я перевел:

ЖАЛОБА

— Лепешки из маиса мне только саднят рот,
Монет холодный никель как языки огня,
И новая рубашка мне больно кожу жжет,
Я — черный мальчик, мама,
И всё — не для меня.

— Нет, ты из меда сделан, из молока, сынок,
Как все на свете дети, чтобы дышать легко.
Ты пахнешь этим медом от головы до ног.
— Но мед был черным, мама,
И черным молоко.

Да, я читать умею. Я знаю точный счет.
Да, я писать умею. Что объяснишь — пойму.
Но только это время не для меня течет.
Я — черный мальчик, мама,
И всё мне ни к чему.

— Нет, ты из мяса сделан и из костей, сынок,
Как все на свете дети, чтоб жизнь была бела.
— Но что поделаться, мама, я белым быть не смог,
Знать, мясо было черным
И черной кость была.

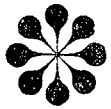
И то, что я имею, — мне ни к чему теперь.
Что отдаю другому — другому не родня.
О чем мечтаю ночью — не для меня. Поверь.
Я — черный мальчик, мама,
И всё — не для меня.

— Нет, ты из крови сделан, она красна, сынок.
— Из черной крови, мама,
Ночь у меня внутри. —
...И кровь из вскрытой вены летит нанкосок.
— Из черной?.. Нет, из красной... Смотри

сюда, смотри!

Я старался в переводе сохранить смысл этого стихотворения. И этот смысл дает мне право считать, что в далекой Колумбии у меня есть брат по песне, что символика его пристрастий почти та же, что и моя. Все, что накопило в своей нелегкой борьбе передовое человечество, освящено нашей кровью, красным цветом, красным знаменем.

Мир победит под этим знаменем, потому что красный цвет — цвет жизни.



Георгий Трифонов

ДУНАЙСКАЯ СЮИТА

Не за вином в подвалах Бадочона,
А над Дунаем желто-голубым
Я стану вдруг цыганом молодым,
Играющим на скрипке увлеченно.

И поплыву на легком челноке,
В тени мостов, серьгой блистая в ухе.
И я пойму, что город на реке,
Веселый Пешт, — в моем мятежном
духе.

Он может спать, усталый от трудов,
Но вот смычком чуть трону я, играя,
Басы канатов, струны проводов —
И оживает музыка Дуная.

Я в круг войду потухшего костра,
Где рыбаки просушивали снасти.

Гуляй, смычок! Звени, моя игра,
Цыганское безудержное счастье.

И видишь, город, ты уже не спишь.
Как лунный дым, притворная дремота.
На жестяных страницах старых крыш
Читаю я таинственные ноты.

Здесь все поет. И в ранний час роса
Лежит светла, как детская улыбка.
Вокруг меня умолкнут голоса,
Замрет в руке опущенная скрипка.

И я пойду, как в сказке старый гном,
Чей сердца стук становится все глуше.
Прощай, Дунай мой! В городе ночном
Цыган оставил песенную душу.

* * *

Рулла-ти-рулла! —
Слова этой песенки
мы вспоминаем,
приехав из Хельсинки.
Не потому, что
когда-то ее же
нам подарил
фестиваль молодежи.
Просто
нам видится
с песенкой этой
в белой столице
финское лето —
в солнечных бликах,
в утреннем хоре
рыбного рынка Кауппатори.
Слышится в небе

отзвук веселый
над возведенной в лесу
Тапиолой¹.
Море,
озера,
гранитные скалы...
Песенка вновь
нас с тобой отыскала
и улетела в Балтийские шхеры,
где путешествуют
с ней пионеры.
Юное,
полное светлого гула,
нравится это нам:
рулла-ти-рулла!

¹ Город-спутник.



Виктор Соснора

ИЗ ПАРИЖСКОЙ ПОЭМЫ

Посвящаю Л. Ю. Брик

Уснули улицы-кварталы
столичной службы и труда.
Скульптуры конные — кентавры,
и воздух в звездах, как вода.
И воздух в звездах, и большие
скульптуры маршалов, матрон;
и человек с лицом паши
спит на решетке у метро.
На узких улицах монахи
в туннелях из машин спуют,
на малолюдном Монпарнасе
нам мандарины продают,
стоит Бальзак на расстоянии
(не мрамор — а мечта и мощь!).
Все восемь тысяч ресторанов
обслуживают нашу ночь!
На площади Пигаль салоны:
там страсти тайные, и там...

А птицы падают, как слезы,
на Нотр-Дам,
на Нотр-Дам!

Он появился нашей ночью
на набережной.

Сей старик
пришел на корточках, на ощупь
сюда

и сам себя воздвиг.
Старик всю жизнь алкал коллизий,
но в президенты не взлетел.
Все признаки алкоголизма
цитировались на лице.
В пижаме из бумажной прозы,
изгоев мира адмирал,
он отмирал. И то не просто —
он аморально отмирал.
Он знал: его никто не тронет,
всё в мире — бред и ерунда.
Он в тротуар стучал, как тростью,
передним зубом. И рыдал:
— Я ПОТЕРЯЛ ЛИЦО!

Приятель,

я — потерял! Не поднимал? —
Но пьян «приятель». И превратно
«приятель» юмор понимал:
— Лицо? С усами?
(И ни мускул
не вздрогнул. Старичок дает!)
Валяется здесь всякий мусор,
возможно, поднял и твое.

На Сене вспыхивали листья,
как маленькие маяки,
за стеклами
шоферов лица —
бледно-зеленые мазки.

Многоугольны переплеты
окаменелостей-домов,
все номера переберете
у многовековых домов,
откроете страницу двери,
обнимете жену, как правду,
под впечатлением таверны
протараторите тираду,
что стала ваша жизнь потолще,
что вы тучнеее, как злаки,
что лица вашего потомства —
как восклицательные знаки!

Прохожий, ты, с улыбкой бодрой,
осуществи, к примеру, подвиг:
уединись однажды ночью —
поулыбайся в одиночку.
Не перед судьями Сорбонны,
не перед женщиной полночной,
не перед зеркалом соборным —
поулыбайся в одиночку.
И, страха глаз не поубавив
и слезы не сцедив с ресниц,
дай бог тебе поулыбаться,
во всяком случае — рискни!
Когда идет над берегами,
твердея,
ночь из алебастра

на убыль,
ты,
не балаганя.
себе всерьез поулыбайся.

Сидела девочка на лавке,
склоня вишневую головку.
Наманикюренные лапки
ее
лабировали ловко.
Она прощупывала жадно
лицо,
чтобы его приклеить,
лицо,
которое держала
на лакированной коленке.
Она с лица срезала капли
сует излишних, слез излишних,
ее мизинчик — звонкий скальпель —
по-хирургически резвился.
Она так долго суетилась,
искала так,
и вот сегодня
СВОЕ ЛИЦО НАШЛА статистка,
и вот пора его освоить.
Заломленный вишневый локон
был трогательно свеж и мил.

Прооперировано ловко.
Перед экраном дрогнет мир!
Лицо ее — как звезды юга!
СВОЕ! Мечтательницы юной!
И цельное лицо. Процессы
отображаются большие, —
такие, как у поэтессы,
как у божественной Бриджиты.
Теперь бы туфельками тикать,
да на какого короля
бряцающий надеть канат
под видом тихой паутинки?

Любовь была не из любых:
она — любила, он — любил.
И Мулен Руж в нарядах красных
вращала страсти колесо.
Любили как! Он — ПОТЕРЯВШИЙ,
она — НАШЕДШАЯ ЛИЦО!
Он — адмирал, она — Джульетта,
любили! Как в миллионах книг!
За муки ведь его жалела,
а он — за состраданье к ним!

Все перепутал чей-то разум.
Кто — муж? Которая — жена?
Она не видела ни разу
его,
а он — и не желал!
Возможно, разыграли в лицах
комедию? Так — не прошла.
Большое расхождение в лицах:
он — ПОТЕРЯЛ,
она — НАШЛА.

Дыхание алкоголизма.
Сейчас у Сены цвет муки.
Поспешных пешеходов лица —
как маленькие маяки.
Да лица ли?
Очередями
толпились только очертанья
лиц, но не лица! —
контур мочки,
ноздря,
нетрезвый вырез глаза,
лай кошки, «мяу» спальни моськи.
Ни лиц. Ни цели. И ни красок.
Перелицовка океана —
речушка в конуре из камня,
да адмирала рев:

— Ажаны!
ЛИЦО ИЩУ! —
Ищи, искатель!
Все ощутит прохожий вскоре —
и тон вина, и женщин тон.
Лишь восходящей краски скорби
никто не ощутит. Никто.
Прохожий, в здания какие —
в архитектурные архивы
войдешь, не зная, кто построил,
в свой дом войдешь ты посторонним.
Ты разучил, какие в скобки,
какие краски на щиты,
лишь восходящей краски скорби
тебе уже не ощутить.
Познал реакцию цепную,
и «Монд» и библию листал.

Лицо любимое целуешь,
а у любимой
нет
лица.

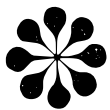
подчинится нехотя,
пока,
чтобы идиотски улыбаться,
снисходительно и свысока.
В чем-то словно бы оно умнее,
ну, а в чем — узнается потом.
И, повергнутые в недоуменье,
бороду сомнем
перед дитём.
Как бы это нас ни огорчало,

ищем вразумительный ответ:
может,
чем юнее наши чада,
тем взрослее их веселый век?
Перед ними — близкими и дальними,
перед собственными детьми,
перед собственными деяньями —
мы — приготовишки,
черт возьми! . .

И Н Е Й

Иней — он случится, иней,
в среду ль, в воскресенье.
Иней — воздух именинный,
снежное цветенье
елочек,
заборов,
сосен,
проводов,
берез.
Ни о чем они не просят,
но глядят всерьез.
Все иное в это утро:
мы — ясней, мудрее.
И добрее. . .
Мы как будто
слушаем деревья.

Ну и невидаль и небыль
выдала зима!
Словно бы свисают с неба
на дымах дома.
Словно на шарах дыханья
своего
плыву.
Иней — выдумка такая
наяву.
Иней — сон царевны юной?
Или это —
инобытие июня,
негативы лета?



Леонид Агеев

* * *

К рассвету
белый свет белён
был заново. . .
Полудета,
не досмотрев осенний сон,
свершила женщина все это.
Халата полы подобрал,
она месила и мешала,

и тяжело она дышала,
прощаясь с запахами трав
и листьев.
И гнала усталость. . .
Но чуть помедлила,
когда
спросонок птаха
рассмеялась

*

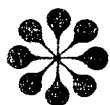
и смолкла в сумерках куста...
Колени женщины белы,
халат в цветах — больших и белых,
качались руки, как стволы
берез,
от ветра задубелых,
развевая над землей
свое ликующее месиво...

И это дело
было весело
вершить ей — грешной и земной...
Трясли будильники дома,
во сны ушедшие глубоко.
Вставали мы,
глядели в окна,
зевали радостно:
— Зима!

* * *

Побродишь,
побродишь по свету,
и выпадет вдруг отдохнуть,
былого скуную газету
на дачном крыльце развернуть...
Под вечер придет к тебе кто-то
и скажет:
— Привет вам, привет!
Хорошая, — скажет, — погода...
Что слышно из ваших газет? —
Сперва ты красиво расскажешь,
где был и кого повидал,
какие отведывал каши,
какие напитки пивал...

Потом ты поведаешь просто,
о чем передумать успел
за этим мельканьем пестрым
людей,
обстановок и дел...
Затем ты захочешь продолжить,
о чем ты не думал,
о чем
тревожился, помня, что должен,
да вот отмахнулся:
«Потом!»
Захочешь — и вдруг не сумеешь,
лицо о ладонь обопрешь,
и до ночи так онемеешь,
и до свету так не заснешь...



Людмила Барбас

* * *

И снова бал. Не выпускной.
Нас в сорок пятом выпускали.
Танцуйте, мальчики, со мной,
Как никогда не танцевали.
Солдатский, бравоый, духовой,
Давай, что есть еще в запасе!
Танцуйте, мальчики, со мной,
Как с первой девочкою в классе.
Такой была я только в снах...
Невозвратимы те потери.

На ученических балах
Нескладно жалась возле двери.
Умела ватники стирать,
В очередях ночами стыла,
Но не умела танцевать
И научиться позабыла.
Я снова чувствовать хочу
Большие влажные ладони,
Склоняюсь к сильному плечу
В немом, доверчивом поклоне.

Уже с заметной сединой
Мои погодки в школьном зале. . .
Танцуйте, мальчики, со мной,
Как никогда не танцевали.



Глеб Горбовский

* * *

Шумит двадцатое столетье,
как лес дремучий на ветру. . .
Быть может, завтра,
на рассвете,
не просыпаясь, я умру.
В селе за Волгой
в хвойной гуще
старинный прячется погост.
Что в мире спальни этой лучше?

Вокруг бушует сенокос,
перезревает земляника,
ручей петляет по Земле. . .
. . .Эй, умирающий, взгляни-ка,
у мухи солнце на крыле!
Корова голову вздымает, —
поет!
А рядом, по шоссе,
летит, как стрелочка прямая,
машина в утренней росе. . .

* * *

Не притворяясь, ем картошку
и упиваюсь молоком.
Худая утренняя кошка
сигналит красным языком. . .
Пробраться к омуту лесному —
и вмиг раздеться
добела,
и бултыхнуться
вновь и снова
до дна зеленого,
где мгла. . .
Полузаросшею тропею,
вонзаясь в зелень головой,
вгрызаться в синий воздух
с боя
и ликовать, что ты живой.

Но только вечером повеет,
положишь голову на грудь.
Душа вздохнет. . . и онемает,
и лепестком не шевельнуть.

ВЗГЛЯД НА МОРЕ

Неумолимое, как осень,
не раз ввергавшее в тоску,
там, за стеной прибрежных сосен,
каталось море по песку.

И ни души над серой гладью.
Лишь только тянет от нее
жестоким ветром неоглядя.
И так желанно — забыть!

И если где-то во вселенной
иной болтается мирок,

то в царстве ракушек и пены
душа какой отыщет прок?

.. Лишь корабли скользят по коже —
по голубым твоим плечам.
Ах, море, море, что ты можешь?
Морячек мучить по ночам?

Рыбешку выдать для желудка?
А что еще?
Нагнать тоску?
Да, как лишенное рассудка,
порой кататься по песку. . .



Полина Каганова

* * *

Давно не видались мы, очень давно,
А встретиться было опять суждено.
И вот, на закате весеннего дня,
Знакомит подруга с тобою меня.
Знакомит. И руку ты мне подаешь,
И пальцев знакомых я чувствую дрожь,
Такую, как многие годы назад,
Когда увозили меня в медсанбат.

Выходим мы вместе, втроем, на балкон,
И в красках вечерних уже небосклон,
И ярко Полярная светит звезда,
Такая, такая совсем, как тогда.

И кажется — все это было вчера,
И кажется — снова в разведку пора,
И кажется — с нами присутствует вновь
Пропавшая без вести наша любовь.

А я разговор осторожный веду,
Как будто по минному полю иду!

Ты много лет жил без меня
Среди железа и огня.
И в том огне, на той войне
Не раз мечтал о тишине.

Но и минуты тишины
Солдаты были лишены.

И там, где бешеный металл
Ревел и землю разметал,
Ходили женщины с тобой
Из боя в бой, из боя в бой.

И в час отбоя, может, ты
Одной из них дарил цветы.

Война войной, жена женой.
Я не хотела, чтоб — одной:
Одна могла тебя обнять
И у меня тебя отнять.

А рук твоих и губ твоих
Хватить не может на двоих. . .



Всеволод Рождественский

КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ

Листки воспоминаний

Речь пойдет о возникновении Союза поэтов в его первоначальном облике, в Петрограде, летом 1920 года. Это чисто литературное событие, может быть не столь уже заметное на общем фоне жизни революционного города, памятно его участникам хотя бы потому, что непосредственное отношение к нему имел А. А. Блок.

Колыбелью этого не совсем обычного по тем временам начинания явилось основанное Горьким издательство «Всемирная литература», собравшее вокруг себя немало литературных и научных сил и, разумеется, переводчиков прозы и поэзии. Здесь на деловой почве общались поборники самых различных существовавших тогда в литературе групп и направлений.

По счастливой для меня случайности и мне, юному тогда студенту-филологу, только что вернувшемуся в университет с полей гражданской войны, довелось

принимать некоторое участие в общей работе — поначалу на скромной должности «исполнителя книжных поручений». На мне лежала обязанность держать непосредственную связь с редакторами, брать от них списки нужных им книг и отыскивать эти книги по лавкам букинистов. Тут я и познакомился ближе с А. А. Блоком. Он занимался в это время собранием сочинений Генриха Гейне и сам переводил стихи из «Книги песен».

Первоначально наше общение ограничивалось чисто деловыми рамками. А. А. вручал мне узенькую полоску бумаги с аккуратно выписанным перечнем нужных ему изданий, а потом очень вежливо благодарил за выполненное поручение. Но впоследствии мне случалось не раз провожать его из «Всемирной литературы» (он любил ходить пешком), вести с ним по дороге беседы, бывать у него дома, на Пряжке.

Блок вообще отличался подчеркнутой вежливостью и воспитанностью, казавшейся порой несколько старомодной. Но скоро мне пришлось убедиться в том, что за маской внешней сдержанности и обычной немногословностью этого, казалось бы, очень усталого и словно «отгоревшего» человека скрывается неистощимый запас душевных сил и горячая заинтересованность во всем, что происходит вокруг него. В этот период — 1919—1920 годы — Блок, хотя и жаловался порой на утомленность, принимал деятельное участие и в Репертуарном управлении Большого драматического театра, и в недавно образовавшемся Союзе деятелей искусств, и во «Всемирной литературе», где ему приходилось выступать с докладами о русских переводах Гейне, о «крушении гуманизма» и даже с чтением последней главы поэмы «Возмездие».

К этому времени все настойчивее поднимался в кулуарах издательства вопрос о создании Союза поэтов. К тому же и общая обстановка весной 1920 года начала складываться более благоприятно. Город, перенесший тяжкую холодную и голодную зиму, теперь, после перелома на фронтах гражданской войны, начал понемногу приближаться к нормальной жизни: возвращались с ближних фронтов рабочие, начинали дымить законсервированные прежде заводы, стало легче со снабжением. Оживилась и культурная работа.

Разговоры о Союзе поэтов возникали все чаще и чаще. Сдержанное участие принимал в них и Блок. Но надо сказать, он не сразу признал необходимость этого нового в тогдашних условиях начинания. Помнится, во время одной из очередных пешеходных прогулок он стал доказывать, что не видит особого смысла в таком объединении.

— Ну, что они (т. е. поэты) будут делать вместе, такие разные и друг на друга непохожие в самом существенном, в понимании и видении жизни? Как все это согласовать в каком-то теоретическом единстве? Да и нужно ли?

Потом с неожиданно светлой и как бы нерешительной улыбкой, которая так

шла к его несколько строгому и словно окаменевшему лицу, вдруг добавил:

— А впрочем, надо бы во всем этом разобраться. Теперь ведь жизнь пошла по-новому, и нам самим надо быть новыми. Кто знает, может, и поэты будут нужны. Ведь в поэзии, по самой ее природе, всегда заложено что-то вечно растущее, близкое самой жизни.

Несколько позднее, и тоже во время нашей прогулки по городу, он вернулся к этой теме, очевидно после очередной беседы-спора с Гумилевым.

— Вот в «Цехе поэтов» у Гумилева думают, что подобное объединение можно создать на почве общего понимания внешних форм стихотворства. На понятии «хорошего вкуса» и формальной благопристойности. Но ведь это детская забава, это нечто само собой понятное. Суть не в этом. Конечно, Гумилев хороший мастер стиха. Но он со своей книжной романтикой отстал от времени, особенно сейчас, когда все мчится таким бурным потоком. Он утверждает, что стихотворение можно построить и решить как теорему, что он видит его целиком с первой же строчки. Не знаю, не могу этого постичь. Стихи рождаются от внутреннего звучания и не всегда с самого начала. Да и вообще самое главное в них трудно поддается объяснению. И решать все вопросами одной формы явно недостаточно. Нет, нет, не в этом суть. . .

Возможно, Блок говорил не совсем этими словами, но общий их смысл именно таким сохранился в моей памяти.

Начало 1920 года проходило в длительных спорах на собраниях организационной группы, в которых изредка принимал участие Блок. Будущий Союз поэтов еще не имел своего постоянного помещения. Собирались то в одной из комнат тогдашнего Наркомпроса на Чернышевской площади, то в Институте истории искусств, то — в перерывах между редакционными заседаниями — во «Всемирной литературе», на Моховой. Лишь много позднее удалось получить под помещение клуба пустующую барскую квартиру на Литейном, неподалеку от дома, где помещался когда-то Некрасовский «Современник». Блок особенно ра-

довался этому соседству, видя в нем доброе предзнаменование.

К этому времени А. А. уже не настаивал на прежнем своем скептицизме и не раз говорил о том, что «объединение» возможно, добавляя однако — «на почве чисто профсоюзной».

Наконец образовалось и «правление», — точнее было бы сказать, президиум (А. Блок — председатель, К. Эрберг и Н. Оцуп — его заместители, Н. Павлович и Вс. Рождественский — секретари). Понадобилось и создание «приемной комиссии», так как сразу посыпались заявления от желающих вступить в новый союз. В эту комиссию вошли А. Блок, М. Кузмин, Н. Гумилев и М. Лозинский.

Помещение клуба на Литейном было наконец отремонтировано, приведено в порядок заботами нашей «хозяйственницы» поэтессы Наталии Грушко, и 4 апреля 1920 года состоялось первое общее собрание поэтов города. Их оказалось больше, чем можно было предполагать.

Заседания правления нового союза проходили под знаком «материальной озабоченности каждого дня».

По немногим сохранившимся у меня протоколам видно, что речь на заседаниях в общем шла о вопросах чисто бытовых, хозяйственных: управление клубом, продовольственные пайки, дрова и т. д. А. А. тяготился этой скучной для него работой и нередко в конце затянувшегося заседания предлагал «просто почитать стихи». И это были самые светлые часы нашего рабочего быта.

В одном из протоколов — от 7 сентября 1920 года — есть такая скупая и суховатая запись: «№ 1. О Всерабисе (Всероссийский союз работников искусств). Всерабис предложил Союзу поэтов слиться и послать представителя в президиум Всерабиса. А. А. Блок указывает на необходимость обратить серьезное внимание на это предложение, т. к. оно дало бы Союзу поэтов все права профессиональных союзов».

За этими канцелярскими строками скрыта целая буря страстей, вспыхнувшая после принятого большинством решения: «Поручить А. А. Блоку и Н. А. Павлович составить объяснитель-

ное обращение к председателю Всероссийского Союза поэтов В. Я. Брюсову — разумеется, с согласием принять предложение Всерабиса».

В протестующем меньшинстве осталась «акмеистическая группа», возглавляемая Н. Гумилевым, Г. Ивановым, Г. Адамовичем, Ир. Одоевцевой, Н. Оцупом. Эта группа заявила, что не желает подчинять принципы «чистого искусства» профсоюзным интересам, и потребовала переизбрания правления в целом. После бурного заседания в клубе поэтов ей удалось это сделать. Поначалу был забаллотирован и Блок, но потом его просили остаться, на что он согласился крайне неохотно и только при условии, что его не будут загромождать очередными бытовыми делами.

В новом правлении Блоку было не по себе. Внешне он был окружен атмосферой подчеркнутой почтительности, но в сущности теперь мало считались с его мнением. И он предпочитал молчать. Разногласия с акмеистами продолжали расти, и дело было конечно не в частном вопросе о профсоюзах, а гораздо глубже — в принятии или непринятии новой советской культуры. А позиция Блока определилась еще со времени написания «Двенадцати».

Так тянулось дело до осени. 5 октября 1920 года Блок заявил о сложении им председательских полномочий и выходе из Союза поэтов. За ним последовали — в знак солидарности — и те, кто разделял его взгляды. Мне приятно вспомнить, что и я был в их числе. В оставшейся части Союза поэтов началось смятение. Акмеистическое руководство должно было признать, что уход Блока лишает организацию всякого авторитета. Примерно через неделю на квартиру А. А. явилась целая делегация во главе с Гумилевым. Переговоры длились немалое время, и неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы не предложение М. Л. Лозинского о почетном и ни к чему не обязывающем председательстве. Блок в конце концов согласился, но добавил при этом: «Только для того, чтобы окончательно не развалилась с таким трудом созданная организация».

Но в сущности Блок уже перестал бывать на собраниях. Более того, осложнились и его личные отношения с Гумилевым, с которым ему приходилось «встречаться по работе во «Всемирной

литературе». И там он стал появляться значительно реже.

После смерти А. А. Блока Союз поэтов фактически надолго прекратил свое существование как самостоятельная организация.



Надежда Полякова

ПЕРЕПИСЧИКИ ДРЕВНИХ КНИГ

Переписчики древних книг.
Старый мастер и ученик.
Буква к букве, к строке строка.
От пера затекла рука.

Но была владыкою та рука.
На века прославляла войска князька,
На хулу легка была и резка.
Позора князька не смыли века.

На пергаментях тех цвела
Синева, позолота.
Тяжела, тяжела, тяжела
Работа.

Но работа всегда права.
И в строку ложились слова
О себе самом,
О себе самом.
Из своей беды не построишь дом!

Переписчик от красок хирел и слеп,
Не хватало гроша на вино и хлеб.
А барашков вели на убой, под нож —
На шашлык, на пергамент из нежных
кож.

Приходил заказчик с веселым голосом,
Доставал мошну из-за пояса,
И звенели, стекая с его руки,
Долгожданные медяки.

Книги знали почет, забытье, недуг,
Уходили книги из купецких рук.
Побродив по земле,
Потомясь в земле,
На музейном столе
Лежат на стекле.

Открываю одну из книг.
Переписчик, ожив на миг,
Говорит опять о себе самом:
— А горбом-трудом
Не построишь дом!
У родни моей
Ни двора ни кола.
Да и я голей
Ясна сокола.
Нет ни сытости, ни тепла.
А рука моя затекла.

Среди гладких слов
Из привычных молитв,
Толкований снов,
Описаний битв
Переписчик кричит пересохшим ртом
О себе самом,
О себе самом.
И ценней позолоты пергаментных книг
Возвещающий правду о времени
Крик.



Лев Гаврилов

ЗАВИСТЬ

Хорошего мужа корила жена:
— Скажи мне, ну в чем благодарность видна,

Ты столько работал, тебе пятьдесят,
А что ты имеешь? Один лишь оклад! . .

А вот у соседа машина, гараж.
А дача! А мебель! Ты видел трельяж?

Супруг, защищаясь, ответил жене:
— Ну что ты соседом все тыкаешь мне?
Он крал, осужден, и, конечно, сосед
Получит не меньше пятнадцати лет.

— Вот видишь! И это помимо всего!
Соседу пятнадцать — тебе ничего!



Сергей Погореловский

В ТВОЕМ ЗАДАЧНИКЕ

Однажды Две Двенадцатых
Позвали Трех Тринадцатых:
— Давайте, Три Тринадцатых,
Пройдемтесь вечером!
— Ах, что вы, Две Двенадцатых! —
Смутились Три Тринадцатых, —
Увидят Пять Пятнадцатых,
Что вы со мной вдвоем!

— Пусть видят Пять Пятнадцатых! —
Сказали Две Двенадцатых, —
Мне это, Три Тринадцатых,
Поверьте, все равно!

Пусть знают Пять Пятнадцатых, —
Сказали Две Двенадцатых, —
Что я вас, Три Тринадцатых,
Люблю уже давно!

— И я вас, Две Двенадцатых! —
Признались Три Тринадцатых. —
Пойдемте, Две Двенадцатых,
Подайте мне пальто! . .
Ну что нам Пять Пятнадцатых!
Ну что нам Шесть Шестнадцатых!
Ну что нам Семь Семнадцатых
И даже Целых Сто!



Борис Кауров

* * *

О, эти стены, эти потолки
с филенками, с накатами цветочными!
Как прихоти бывают велики,
как идеалы их невысоки
в сравнении с трубою водосточною.

Она проста. Она пряма, груба.
Но вслушайся: дождем гремит труба,
в мажоре марша громыхает — слышишь!
И город чист. Работает труба,
и свежим суриком сверкают крыши.

А здесь — все ярко, броско, напоказ.
Блеск золота, ультрамарина тени.
Сперва как будто ослепляют вас.
А приглядишься — и усталый глаз
отводишь. Бесплезное творенье!

Безвкусицей здесь пахнет за версту
смешение модерна и мещанства.
Пусть скромную, люблю я простоту,
пусть грубую, люблю я прямоту
и дел своих и мыслей постоянство!



Нора Яворская

ИЗ КНИГИ «ОЧИЩЕНИЕ ДУШИ»

ГОЛУБОЕ НЕБО

А тут царит особый колорит, —
вот покупают одеяло двое,
она ему, воркуя, говорит:
«Возьмем вон то — как небо голубое».

И продавец проделывает трюк:
шмяк на прилавок облаков паренье,
движенье рук —
и небо — просто тюк.
И тюк домой несут —
на оперенье.

Глазами провожаю молодых:
а из какого сделаны вы теста?

Ах, голубое небо на двоих,
на уровне чего займешь ты место?!

На уровне второго этажа,
где потолки два метра с половиной?
И навсегда —
ни молнии стрижа,
ни ливня, налетевшего лавиной. . .

На площадь выхожу:
Дышу весной,
ловлю дождинку влажною губою.
А небо распростерлось надо мной.
Одно на всех живущих.
Голубое.

* * *

Мой поклон,
телефон!
Разгони мой горький сон,
утоли мою тоску
по родному голоску,
по родному,
что из дому
из далекого звучит,
что гроза кому другому,
мне — как реченька журчит,
мне — как чистый ручеек;
далеко его исток:
у опушки,
где кукушки,
где мне больше не бывать,
ни волнушки,
ни горькушки
в кузовок не собирать,
не аукаться со счастьем,
не утешиться слезой,
не бродить лесочком частым,
облюбованным лисой. . .
Тек леском
ручеек,

тек лужком
ручеек.
А теперь — по проводам
через город,
через гам,
мимо улиц,
мимо скверов,
мимо милиционеров. . .
Не упасть
в ручей руками,
не припасть
к ручью губами,
не взглянуть
на него,
не дохнуть
на него,
не напиться,
не умыться,
в нем
лицом
не отразиться.
Как скупа его струя —
радость горькая моя!



Николай Данилов

* * *

Звонкоголосый,
подлинный талант,
меж синевой и зеленью посредник,
ах, жаворонок,
маленький атлант,
как много этих сил твоих последних!

Звени, мой маленький,
вовсю звени,
я тоже из последних сил колдую
Не подведи меня, не обмани,
не урони ту глыбу голубую.

Так жить,
от напряжения дрожать,

звенеть, не чуя тяжести небесной,
и знать всегда,
что ты умел держать
весь мир
своей вибрирующей песней.

И верить
в то, что не бывать зиме,
что будет вечно
луговая зелень,
что песня
будет без тебя звенеть
и небо
не обрушится на землю.



Людмила Попова

Я М Б

О, этот ямб
 пленительный и строгий,
Его никто не может избежать —
Ни стихотворцы юные, ни боги,
На чьих устах бессмертия печать.
Сломаешь ритм, переиначишь слово,
Безумной жаждой новизны влеком, —
Ты все равно к нему вернешься снова,
Лицом к лицу встречаясь со стихом.



Михаил Зенкевич

ЛУЧШИЙ РЕЦЕПТ

Стал раздражителен, всем недоволен,
Валится всякое дело из рук.
Может, и вправду ты чем-нибудь болен,
Может, гнетет тебя тайный недуг?
Или, несчастьем каким озадачен,
Ты приуныл и утратил мечту?
Как неприкаянный бродишь ты, мрачен,
Чувствуя привкус чернильный во рту.
Тут не поможешь наукой врачебной,
Сердце не требует кардиограмм.
Хочешь, рецепт самый лучший целебный
Вместе с бесплатным советом я дам?
Это особый вид странного сплина,
Им все поэты нередко больны.
Есть меланхолии этой причина,
Но без любовных влияний луны.
Вот медицинское все заключение:
Ты не писал, видно, долго стихов, —
Выйдет хорошее стихотворенье,
Вслух прочитаешь и будешь здоров!



Елена Рывина

СОНЕТ ПАМЯТИ ЛОЗИНСКИХ

...Они жили счастливо и умерли в один
и тот же день.

А. Грин.

Спокойные, они лежали рядом
В величии покоя своего.
Они могли бы обменяться взглядом,
Но взгляд бы не добавил ничего.
Он, словно Данте, знал все муки ада,
А ей и рай не нужен без него, —
Она, как жизнь, вновь отдала б его,
Чтоб только очутиться так же — рядом.

Они лежали так —
рука с рукою,
В нестрашном, непугающем покое, —
Вдвоем не страшно уходить во тьму.

И только раз —
мне это видно было —
Она глаза туманные раскрыла,
Чтоб посмотреть —
удобно ли ему!

* * *

За дымное пламя Осады,
За горькие годы войны —
Должно быть, великой наградой
Мне эти озера даны.

Даны эти светлые рощи,
Где холм и покат и полог,
Где все вдохновенней и проще,
Чем смертный бы выдумать мог.

Взгляни в это чистое небо,
Где звездам ни дна, ни числа.
А большей награды не требуй —
Награда крупней, чем дела!



ПОПЫТКА ВОЗРОЖДЕНИЯ ТРАДИЦИИ

О. Тарутин. Идти и видеть. Стихи.
Изд-во «Советский писатель», М.—Л., 1966.

К стихам Олега Тарутина можно предъявить немало претензий. Вот, например, крайне неудачная шутка: «А душа в заветной лире прах начнет переживать». Нужно тщательно и с большим вкусом отбирать материал для иронии. Вот стихи о том, как герой едет в поезде: «Еду сутки, еду двое...» Стихи совершенно необязательные; кроме подробного описания вагонного антуража, они ничего не содержат. Вот наивное до неловкости стихотворение «У героев Джека Лондона...». Не стоит, пожалуй, обращаться к Отелло: «Эх, Мавруша...» и т. д. Но невозможно свести рецензию на книгу Тарутина к оценочному разговору: то хорошо, это плохо. Ибо здесь встают проблемы куда более сложные и принципиальные.

В русской поэзии испокон века существовала линия, которую я условно назвал бы «трагической клоунадой»: от Мятлева — через Сашу Черного — к Олейникову и Хармсу. Линия эта мало изучена, значение ее не определено. А между тем она дала литературе вещи весьма своеобразные и значительные. В конце тридцатых годов, со смертью Олейникова и Хармса, эта линия пресеклась совершенно.

И когда среди стихов Тарутина, среди строк разного качества, вдруг натыкаешься на такие, скажем, стихи об акванангистах:

...Прикрепляет к пяткам лапы
и ныряет в глубину.
Проплывает над кораллом,
выпускает пузырьки...
Рыбка хвостиком выграла,
уплыла из-под руки.

Тонкокожие медузы
переполнены водой,
прячет в раковину пузо
рак-отшельник молодой.
Неестественно богатый
мир глядит со всех сторон...

то с радостью видишь: ничто в литературе не прерывается, не уходит бесследно, не оставив преемников — родных или хотя бы двоюродных. Начинаешь внимательно читать лежащую перед тобой книгу и обнаруживаешь большую группу стихов, которые объединяются теми же особенностями, что отличали стихи Олейникова.

Точно сказать, шутя и дурачась, о вещах серьезных, а подчас и страшных, — в этом есть нечто от старинного умения «истину царям с улыбкой говорить».

Олейников сумел в каких-то нелепых, детских строчках передать извечную трагедийность мира:

Страшно жить на этом свете,
в нем отсутствует уют.
Ветер воеет на рассвете,
волки зайчика грызут,
лев рычит во мраке ночи,
кошка воеет на трубе...

Надо сказать, что Тарутин тоже обладает этим редким качеством. Другое дело — в какой степени. Но об этом речь пойдет ниже. А пока что обратимся к стихам.

Просыпается марсианин
каждым утром очередным,
из неведомой людям ткани
надевает свои штаны...
А жена не хлопчет чутко,
не готовит чай и блины,
потому что ее побудка
от другой зависит волны.

Все шуточки, шуточки... И есть ли в них резон? — Еще какой! В этой иронической новелле об одном дне «среднего марсианина» так ясно проступает издевательство над модными разглагольствованиями о веке техники, о перестройке человеческой психики на сугубо технический лад, об относительности этических начал.

Очевидно, эффект в подобных случаях достигается изложением сложных проблем предельно простым способом. Но и простота эта должна быть точна и обязательна.

Путь, о котором идет речь, не сплошь проторен, он таит достаточно опасностей. И главная из них — дилетантизм, сопутствующий этой поэтической линии. Это, впрочем, и понятно: неудобно убеждать людей, что все эти словесные чудачества столь же высокий род поэзии, как элегия или ода. Дилетантизм в этом случае защитительная позиция, и принимать ее всерьез нельзя. Когда Тарутин пытается поступать так, это приводит к небрежности, растянутости стиха, скидкам на забавность. И главное — к недостатку поэтической смелости в отдельных случаях. Когда же он не боится рискнуть — стихотворение с успехом развивается по своей внутренней логике.

Так взаимоотношения Ильи Муромца

и Соловья-разбойника резюмируются оригинально:

И мужик объяснит ему раз навсегда:
нет искусства для ради искусства!
И уйдет эта новость потом в города,
повторенная тысячеусто.

От возможного обвинения в несерьезности каждый защищается как может. У Тарутина для этой цели существуют другие стихи, написанные на разные темы в широко распространенной манере, как серьезной, так и шутливой. Стихи эти могут быть хорошие и плохие. Но тарутинской неповторимости в них нет. Серьезные мог написать другой поэт — геолог, а шутливые — другой поэт — эстражник. Очевидно, помимо всего прочего, Тарутин опасается однообразия. Его и следует опасаться. Но при этом нужно твердо помнить, что однообразие или разнообразие стихов определяется отнюдь не манерой, не методом, не принципами построения образа (в этом отношении тот же Олейников был весьма однообразен), а внутренним наполнением стиха, которое может сделать неузнаваемыми образные системы-близнецы.

Святое право поэта писать стихи так, как он считает нужным. Но мне кажется, что, чем тщательнее и профессиональнее он будет разрабатывать ту манеру, в которой он ныне единствен, тем лучше будет для него и для нас.



Наталья Грудинина

ДВОРНИЧИХА

Она с метлой выходит до рассвета,
Ругая непогоду, как матрос.
Растерянно торчат из-под берета
Сухие патлы реденьких волос.
Спала ли ночь? Да нет... Румянец смысла
С нестарых щек привычная тоска.
Она ребенка сонного хранила
От пьяного буяна-мужика.



Алексей Кабанов

У ШУРФА

На перекатах хариусы плетью,
Жируя, бьют.
Не чует кашевар.
Июль в разгаре,
Пчелы с разноцветья
Пьют шильцами без устали нектар.
На вырубках кукушкин лен да мята,
Черныш, взлетая,
Пробует крыло.
В шурфе глубоко,
Крепезом распятом,
Уже пол-лета мимо утекло.
С девонской толщи
Поднимает глину
Скрипящий по-щенячьи вороток.
У верхних
Солнце обжигает спину,
У нижних
Руки греет молоток.
Богато все же
на Урале лето.

До крови
Разъедает тело гнус.
Встречаю бодро
Зябкие рассветы,
Зато к закату
Как старуха гнусь.
Но знаю — здесь,
На самом перекате,
Где рыбы ловят на лету стрекоз,
Плотина встанет
С крутизной покатою,
Волну Вижая выстеклит мороз.
И драга-лебедь
Грузно, величаво,
Ломая лед, в верховья поплывет.
А слава? Не девчонка.
Знаю — слава
И в робе из брезента обоймет.



Элида Дубровина

КОННИКИ

Отцветали степные донники,
Стлались по ветру ковыли.
На закат лицом мчались конники,
Мне осталась подкова в пыли.
Журавленком смешным
Я склонилась над ней,
И почудилось ржанье
Горячих коней. . .

У заброшенной колоколенки
Мне сказал седоусый дед:

— Здесь промчались красные конники,
Ковылем зарастает след!

— Они добрые были?
— Добрые.
— Они сильные были?
— Сильные!

Шли предгорьями сумерки теплые.
Звезды падали в травы синие.
И когда печаль подступала

И обида детская жгла,
Я на шлях седой выбегала,
«Где вы, конники?» — громко звала.

И теперь, если станет горько,
Я на зорюшке, пыльной зорьке

Ухожу по косому лучу.
Я на шлях выхожу,
Я в закат гляжу,
«Где вы, конники?» —
Ветру шепчу. . .

ЛУЧ

Метелки из розовой бронзы
Мерцают над влажной травой,
И дышат по-детски березы,
Шумят огрубевшей листвой.

В лугах распускается вереск,
Бормочут грибные дожди,
И снова я радостно верю,
Что счастье мое впереди.

И руки упруги, как крылья,
И вновь из разорванных туч
Слепящий, стремительный, сильный
В ладони мне падает луч.

Он звонкий, как радость земная,
Он легкий, как в юности грусть.
И что мне с ним делать, не знаю,
И тихо, счастливо смеюсь.



Лев Куклин

* * *

Что такое — заедает быт?
Ты ушла, сердито хлопнув дверью?
Вышел муж из твоего доверья?
Он к тебе гвоздями не прибит. . .

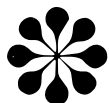
Что такое — заедает быт?
По себе я этого не вижу:
В доме я друзьями не забыт,
Женщиной ни разу не обижен.

Комнату делю я на двоих
С женщиной веселой и беспечной,
Ставшей терпеливой и сердечной,
Доброю хозяйкой дней моих.

Рано ухожу — домой зовет.
Поздно прихожу — не приревнует,
Никогда подолгу не горюет,
Выслушает, выдержит, поймет.

Просто — я люблю ее и дом,
Без народа или при народе, —
Не лодчонку, стиснутую льдом, —
Маленький кораблик на свободе. . .

Ждет меня работа на столе.
Ждет меня забота на земле.



Анатолий Клещенко

НЕБЛАГОДАРНОСТЬ

Было время: в обнимку с нуждой и бедой
На земле, где таежные добрые речки
Бескорыстно поили чистой водой,
Ночевал у костров под высокой звездой.
А в поселках добрейшей души человечки,
Что безвыездно в собственных жили домах,
Узнавая из табеля лишь об апреле,
Шепотком о начальстве судача впотьмах,
На меня с сожаленьем при встречах смотрели.
Властины комодов, набитых тряпьем,
Сторожа при ключах к кладовым и чуланам,
Утвердясь в благоденствии прочном своем
(Посему — от щедрот — не желавшие зла нам),
Вспоминая частенько про обух и плеть,
Почитая пословицу древнюю догмой,
Говорили: «Да, жаль человека, но бог мой,
Если сам он не хочет себя пожалеть?
Был бы тих да смирен — без нужды и без горя
Жил да жил бы, мог выбиться в люди вполне! . . .»

Жалость — доброе чувство, я с этим не спорю,
Но . . . что делать, коль не было жалко их мне?



Галина Гампер

* * *

С охапкой осени в руках
Приеду первой электричкой,
Где люди, как цветные спички,
Стоят в зеленых коробках.

Кленовый лист сниму с плеча,
Сожму его в ладони,

А в городе дожди бренчат,
Как в жестяном бидоне.

То звонко — цин и цен и цан,
То глухо — тинки, тенки. . .
И бьются локти и сердца
О жестяные стенки.

* * *

И все бело, и все метельно.
Идем то порознь, то гурьбой.

Мой голос от меня отдельно —
Такой веселый и чужой,
Живет и даже не стареет
И все хохочет за плечом,
Кого-то злит, кого-то греет,
А я здесь вроде ни при чем.

Живут ответы и вопросы
Такой стремительной длины!
Отчаянно и безголосо
Гляжу на все со стороны,
Из глубины, почти из ночи,
Из тупика, из заперти. . .
А с вами голос мой хохочет,
Да мне к нему не подойти.



Александр Крестинский

ЖУКИ ПРИШЛИ В АЭРОПОРТ

Жуки собрались на курорт,
Жуки пришли в аэропорт.
Уже на старте стрекоза,
Уже вращаются глаза. . .

Но тут
я их накрыл
сачком.
Жужжат под синим колпачком,
Вовсю бранят природу —
Нелетную погоду.

А как прекрасно вдалеке,
Где море с парусами,
Лежать на солнечном песке,
Не шевеля усами.

А как прекрасно по волнам
Скользить на спинках круглых,
А как прекрасно по горам
Бродить на лапках смуглых. . .

Я с силой вытряхнул сачок.
Лети, жучок!
Лети, жучок!

пережитое, как и взятое прямо из жизни. И то и другое может быть закономерно и приводить к успеху при условии творческой одаренности. Однако главное, что роднит молодых советских поэтов, — это желание донести до читателя все богатство своих мыслей, чувств и надежд. И лучшие из них часто подолгу не печатаются — не торопятся, как говорится, дабы проверить себя, ценность накопленного в себе богатства. А вдруг оно мнимое? Вдруг избранный творческий путь — ошибка, а написанные стихи нужны и понятны только одному их автору?

С целью помочь молодому автору в работе над первым впечатлением, над поэтическим словом в Ленинграде, при Союзе писателей, создано центральное объединение молодых поэтов. В нем участвует более двадцати человек, многие из них отмечены истинным дарованием.

И вот — четыре новых поэтических имени, четыре молодых поэта, чье творчество начинает входить в свое собственное, неповторимое русло.

Раиса Вдовина упоенно любит звуки и краски, ароматы родной земли, облик вскормившей ее деревни, реликвии древности, суровую и причудливую, как роспись, идиоматику русской речи. У нее сильный и своеобразный темперамент: стихи лирически насыщены и драматически напряжены. И вместе с тем ее стихи графичны, зримы, отчетливы композиционно — и, видимо, не случайно: основная профессия Раисы Вдовиной — художник-график. Она острым, внимательным глазом присматривается к окружающей ее действительности и пристрастно, настойчиво, дерзко вживается в мир.

Лидия Гладкая — горный инженер. Многие годы она жила на Сахалине, в условиях сурового климата и неженской работы. Но не погрубела, ее стихи как бы вступили в спор с беспощадным бытом, не давая загаснуть в душах людей теплоту и тонкому огоньку — чуткости. Стихи Лидии Гладкой — иногда благодарность, иногда упрек, иногда прямое обвинение. Они зовут людей собраться к огню большой человече-

ности и доброты, корят тех, кто не торопится это сделать. Порою слова призыва или упрека звучат очень громко и направлены, так сказать, прямо в лоб, но и это, по-моему, не страшно — любая манера может быть хороша, если она осыщена большою искренностью сердца.

Совсем иной путь поэтического поиска у Сергея Кулле. Филолог по образованию, человек широко эрудированный, он интимен в разговоре с читателем. И не только в темах разговора, но — прежде всего — в самих интонациях. Поэт заглядывает в душу читателя, видит его настроение и старается с этим настроением как можно теснее соприкоснуться. Если настроение у читателя хорошее — пусть оно станет великолепным, если плохое — то дело поэта обнадежить, приободрить, а то и упрекнуть, но без обиды. Своеобразие разговорной интонации у Сергея Кулле гармонично сочетается с избранной им формой свободного стиха, которой он неизменно пользуется, умело варьируя ритмы. Необычность и даже — так будет вернее сказать — непривычность его поэтической манеры требуют и от читателя вдумчивости, внимания и доброжелательности.

Ирэна Сергеева — библиотекарь по образованию. Она избрала своим поэтическим жанром лирическую миниатюру, этакий озвученный тонкий рисунок, выхватывающий из жизни некую четко увиденную и стоящую внимания линию человеческого поведения, настроения, чувства, характера. Стихи ее не пестры и не многозвучны, они — акварельны, живы и разнообразны оттенками тех немногих цветов, какие она выбирает. Стихи Ирэны Сергеевой отмечает вдумчивый, проникновенный, внимательный психологизм, они доходчивы и внешне совсем незамысловаты. Главное их достоинство — неподдельность.

Стихи представленных здесь молодых ленинградских поэтов интересны прежде всего тем, что их авторы уже довольно уверенно говорят своим голосом, и говорят свое. И это свое — общее, интересное не только самому автору, — оно найдено в нашей жизни, умело и прочно

закреплено в стихе. Сейчас рано еще говорить о том, суждено ли им всем стать поэтами-профессионалами, — это покажет время, несущее каждому множество ис-

пытаний, требующее мужества, неторопливого упорства и — непременно — все возрастающей любви и уважения к читателю.

Раиса Вдовина

СИРЕНЬ

Едет женщина с букетом.
У нее в руках зажат
Куст сиреневого цвета —
Персональный палисад.

По маршруту колосится,
В пять слоев, к цветку цветок —
Не видать в полоску ситца
Сквозь сиреневый поток!

У меня не так красиво,
У меня ужасный вид —
У меня в руках крапива,

На меня трамвай сердит,
Мой сосед меняет место —
Вероятно, в знак протеста.

Пусто слева, пусто справа —
Всем знаком крапивный зуд.
А вообще ее «стрекава»
По-хорошему зовут.

Я молчу. Куда же деться?
Я страдаю по вине
Человеческого детства,
Уцелевшего во мне!

* * *

Ах, каблочки вы, каблочки!
Похожи стали на сучки.

Хожу по городу пешком,
Подошвой рваной шаркаю,
Загнулась кожа лепестком
На деревяшку шаткую.

Как я приду к тебе, Артем,
На этой паре хризантем?

Подбить бы вас набойками —
Опять бы стали бойкими,
Подковками железными —
Опять бы стали резвыми.

Я не считала бы шаги,
Летала бы как пуля.
Бог сохранить вас помощи
Хоть до конца июля!

ДЕВУШКИ

Какие девушки красивые,
Идут навстречу мне которые, —
Ресницы их такие синие,
А шубки модные короткие.

А им едва шестнадцать минуло —
Они рисуются Бабеттами.
Мы были скромными и смирными,
Мы на уроки в школу бегали.

В пальтишках старых и с косичками,
Носили табели родителям,

Мы были просто симпатичными,
Ну а красавиц мы не видели.

На каблучки вставляли венские
Лишь на последнем школьном вечере,
И наши робкие ровесницы
На нас смотрели недоверчиво.

А платья делали до пяток нам,
До самой свадьбы нас морочили.
И от кого нас только прятали?
И за кого нас только прочили?

БАБЫ КОСЯТ

На кряжу кофтенки сбросив,
Выбив косу о брусок,
Начинают бабы росы
Осыпать с тугих осок.

Покачнулись незабудки
Над водой у родника.
Под косой слетают дудки
Молодого тростника.

Велика у баб сноровка,
Потягаешься не вдруг!
Косят бабы под нулевку
Луговину вполукруг.

По-над пожнею жарища,
Полный штиль царит с утра,

Под подол и в голенища
Насыпает мошкара.

Волокуют травы охапку,
На кряжу ее зажгут,
Под дымком попляшут бабки,
В сапоги заложат жгут.

И опять — по медуницу,
По осочину опять.
Солнце жарит, солнце злится:
Вот так бабы — не пронять!

Парни смотрят сквозь ромашки,
Заворожены косьюбой.
Собирай, кричат, шабашки,
Заработались, отбой!

ТАБУН

Объята творчеством земля.
Июльский день погож.
Передо мной лежат поля
И колосится рожь.

И не измерить глубины
Над головой моей. . .
А валуны — как табуны
Стреноженных коней.

Луга некошенных цветов
Они привольно мнут,
Не натирали им хребтов
Седелка и хомут.

И видно мне из-под ресниц,
Как их блестят бока,
Как манят стати кобылиц
Красавца жожака!

Но не поднять тяжелых ног
В полдневную жару,
И валунок, как сосунок,
Разлегся на юру.

И слышно, как шмели гудят.
Стрекоз пугливый рой.
И долетает аромат
Медунки полевой!

Лидия Гладкая

Б. С.

...А другим — это только пламя,
Чтоб остывшую душу греть.

А. Ахматова

ПЕСНЯ О ЛЮБВИ

Люблю смотреть в огонь
Я синими ночами:
Огонь, мой рыжий конь,
Уносит от печали.
Неси, неси меня
С конца и до начала,
От ясного огня
Последнего причала.
Настольной лампы свет,
И профиль наклоненный,

Знакомый красный плед,
Небрежно оброненный.
Люблю, люблю, люблю!
Лицо мое пылает...
Большому кораблю
Не якорем была я —
Сама плыву, плыву
По огненному морю,
Пою, пою, пою
На самом гребне горя.

Сергей Кулле

* * *

Наташа,
уж не тот ли это город,
где нашу труппу ждет большой успех?
Где зрителей
до глубины души взволнует
бесхитростный сюжет,
самозабвенная игра актеров
и акварельный
рисунок режиссера?
Где даже у бывалых театралов
забьется ретивое?
Где даже первоклассник
прослезится?

И где нам суждено,
когда погаснет рампа,
спускаться вниз
по водосточным трубам,
срываться
с высоты пожарных лестниц
и пробираться,
стараясь сохранить инкогнито,
сквозь толпы фоторепортеров
с автоспусками,
сквозь толпы мальчигов
без головных уборов?

* * *

Спектакль был обречен.
Газеты понесли
и автора и режиссера.
Публика не шла.
Распространители билетов
сбились с ног.
Одна невеста осветителя
ходила в театр каждый день.
Ведущая актриса
грозила заявлением об уходе.
Директор театра
бросился в пролет.
Кассир сказал: «Накрылись!»
Аплодисментов не было.
Исполнителей ролей не вызывали.

Исполнителей ролей
не вызывали.
Аплодисментов не было
несколько минут,
они не прекращались несколько часов.
Публика не шла домой.
Директор театра
бросился в пролетку
и плача и смеясь.
Кассир сказал: «Накрылись!» —
увидав толпу у кассы.
Распространители билетов
сбились с ног,
скрываясь от клиентов.
Одна невеста осветителя
ходила в театр
каждый день,
другая ей завидовала.
Ведущая актриса,
не включенная в спектакль,
грозила заявлением об уходе.
Газеты понесли
как знамя
имя
автора и режиссера.
Спектакль был обречен на бешеный
успех.

Спектакль был обречен
на бешеный успех. . .

АКВАРЕЛЬ ЛАДО ГУДИАШВИЛИ

Я завидую только одной,
что живет у тебя за стеной
и газельими смотрит глазами
на глаза твои,
губы твои.
И клянут ее
губы мои,
ей придумывая наказание.
У нее неземное лицо,

у нее заостренные пальцы.
И кладешь ты на клавиши пальцы.
И она наклоняет лицо,
наклоняет над тонким бокалом,
и смиряюсь я сердцем усталым,
и тебя не пытаюсь забыть.
Мне не женщиной хочется быть —
акварелью на гладкой стене.
Пусть другие завидуют мне.

* * *

Вхожу в Кашветский храм,
гляжу в святые лица —
хочу не богу там,
а гению молиться.

Он недоступен мне,
он далеко. Он близко.
Он ходит по земле —
по улицам тбилиским.

* * *

Пьем темно-красное вино,
а он танцует кинтаури,
как будто внутренние бури
его оставили давно.
Но, как стрела на тетиве
натянутой —
вот-вот сорвется,

когда лицо его смеется,
все обращенное к тебе.
Так искрятся его глаза,
так искренне его веселье. . .
Любовь справляет новоселье,
остановить ее нельзя.

ХУДОЖНИК

Холсты еще пусты
и краски в заточеньи.
И мысль от воплощенья далека.
Но выполнить свое предназначенье
спокойная готовится рука.
Еще он человек,

а не создатель,
и миру ничего не говорит.
Грустит.
Смеется.
И острит некстати.
Но замысел в душе его горит.

ШАШКА

Ты спишь, как воин, как герой,
за голову закинув руку,
и шашку — верную подругу —
во сне несешь над головой.
Но никогда рука твоя
не знала шашки и гранаты,
она фисташки и гранаты
в садах Осетии рвала.
Ты спишь, как воин. И к лицу
тебе спокойствие победы,
как двести лет назад шло деду,
как двадцать лет назад — отцу.



Нонна Слепакова

ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ

Еще не раскисла дорога
и даже не стала грязней.
Нарядная птица сорока
довольная ходит по ней.
Еще зеленеет береза,
все желтое — наперечет.
И если ты глянешь с откоса,
по-прежнему речка течет.
И кто-то веселой рукою
нам машет: «Купаться пойдем!»
Но все-таки что-то другое
с утра появилось во всем.
Сегодня особенной струйкой
дымок выходил из трубы,
и лес паутинною стрункой
шершаво коснулся губы.
Над озером шумная стая
сошлась в треугольный косяк,
и даже собака простая
залаяла как-то не так.
И если взглядеться, то этим
обычным Особенным Днем,
что кончилось Лето — заметим,
что Осень настала — пойдем.

НОЧНОЙ РАЗГОВОР ФИЛИНОВ

Из дома, теплого в ночи,
я выбегаю на крыльцо.
Ты, дом, останься, замолчи,
ты погаси свое лицо!

Пускай никто не смотрит вслед,
не появляется в окне.
С крыльца сойти — да силы нет,
и прижимаюсь я к стене.

Так между домом и густой,
неодолимой темнотой
стою — а сосны всё ворчат,
стою — а совы всё кричат.

Я слышу — филин, как в трубу,
а филиниха — как в дуду,
басисто ухает: «Уб-бу!»,
потоньше ухает: «Уд-ду!»

Какая ночь! Какая дрожь
во мне от головы до пят!
И мелкий, величайший дождь
кропит, и филины воняют.

Стою меж домом и судьбой,
между тобою и собой.

Так в нерешимости стою
на сладком, жутком холоду.
А филин все кричит: «Убью!»,
а филиниха все: «Уйду!»

КАКТУСЫ НА ОКНЕ

В рассеянный вечер весенний
манит меня это окно.
Коллекцию злющих растений
показывает оно.

И шаро- и конусовидны,
и кто только выхитрил вас?
Как будто всей жизни обиды
расставлены здесь напоказ.

Обиды свернулись ежами,
набухли фуфлыгой, трубой. . .
Смотрите! Вот ТАК обижали,
и ТАК обижали порой!

Зачем ты скрываться изволишь,
хозяин колючих красот?
Ты, может, любитель всего лишь,
растениекактусовод?

При виде родни косоротясь,
ворочаясь колким бочком,
мой новенький кактус-уродец
становится в сердце торчком.

И мне удастся припомнить,
зачем под окошком стою.
Хозяин! Ты хочешь пополнить
коллекцию эту свою?



Александр Шевелев

У РЕКИ

Уплывает вода,
удаляется,
тихо падает в глубину,
в берег нехотя
ударяется
и покачивает луну.
Щуки бродят зеленые,
нервные,
жадно жабрами шевелят.
А под ивами
и под вербами

молодые гусыни шалят.
Выгибают шеи беленые,
обливаются чистой водой.
Смотрят щуки на них зеленые
и обходят их
стороной.
В сети тонкие попадают,
в перекрывшие быстрину.
Уплывают круги,
удаляются,
опускаются в глубину.

НА ПОЖАРЕ

Огонь подбросил разом дом,
из окон с ревом вылетая,
и птиц испуганная стая
рванулась в небо кувырком.

Жар оттеснил толпу к сараям.

Старик хозяин без руки
из дома всё таскал тюки,
он был как будто несгораем.

И, перекатываясь глухо,
валилось пламя через тын.

И, точно склеенный кувшин,
стояла в стороне старуха.

И улеглось в ее глазах
все от земли и до зенита...

Она, как богом позабыта,
стоит на тоненьких ногах.



Нина Островская

НИКОЛЬСКИЙ САД

Назад возвращаться не надо, —
Бреду я, о том позабыв:
Ограда Никольского сада —
Как давнего детства призыв.

Заполнила небо, темнея,
Дубов молчаливая рать,
Вот эта скамейка, аллея,
Где мы так любили играть. . .

Но что это, память, куда ты?
Нарушив дорожек уют,
Пузатые аэростаты,
Как туши китовьи, плывут.

И купола солнечный слиток
Под краской померк в синеве,

И тонкие дула зениток
Хоронятся в тихой листве.

Еще чечевицы и хлеба
До осени хватит, но вот
Расколет сентябрьское небо
Смертельного груза полет. . .

Нет, я не хотела, поверьте,
Сейчас вспоминать о войне,
Дыханием жизни — не смерти —
Склоняются ветви ко мне.

Расчищены травы от хлама,
Путей в невозвратное нет.
На куполе древнего храма
Дробится ликующий свет.

* * *

Я все пишу о старом, о былом,
Как будто тыщу лет живу на свете.
А юность бьет серебряным крылом
И чертит путь в грядущее столетье.

А я? Я не стара и не юна,
Я вновь стою у синего причала, —
Еще не проступила седина,
Еще не поздно жизнь начать сначала.

Я счастлива — мне есть о чем жалеть.
Пусть будет так — не задохнусь от жажды.
Но как решиться перерезать сеть,
Своей рукой сплетенную однажды?



Сергей Орлов

НА ЮБИЛЕЕ ТОКТОГУЛА

В цветы и лозунги одета,
Встречая музыкой гостей,
Страна великого поэта
Его справляла юбилей.

Он умер тихо в юрте бедной,
Когда в тридцатые года
Под гром динамиков победный
Пришла голодная беда.

И дом его, его могила —
Долина между гор и скал
Теперь столы с вином накрыла
И угощала наповал.

Поэты славили поэта
За то, что страха он не знал,
Ни за какие блага света
Строки своей не предавал.

Его комуз — степная лира —
Царевой ссылкой и тюрьмой
Настроен против сильных мира
Был справедливостью самой.

Охотники и скотоводы
Спешили к ней издалека,
И с ними в памяти народа
Жила поэтова строка.

Пасла кудлатые отары,
Вершила суд, ткала ковры,
Шла в революцию и даром
Венчала свадьбы и пиры.

И вот с утра до поздней ночи
Под меди звон и пенье струн
О ней динамики грохочут
С эстрад, подмостков и трибун.

И мы, России стихотворцы,
И Украины, и Литвы,
Сидим, притихнув без притворства,
Пред гулом славы и молвы.

А степь гремит, вздымая горны
Во имя наших братских уз.
И где-то в ней светло и горько
Звенит бесхитростный комуз.

* * *

Уходит женщина. Уходит,
Как солнце в небе, как река
За горизонт по шатким сходям
Травы, кувшинок, тростника.
Уходит женщина так просто,
Без слез, без слов, без жестов прочь,
Как в океане синий остров,
Как день уходит и как ночь.
Естественно, обычно, вечно
Уходит женщина. Не тронь.
Так, уходя, идет навстречу
Кому-то ветер и огонь.

Как ливень с тысячей мелодий
Из поля в новые поля,
Уходит женщина. Уходит,
И гаснут в небе тополя.
Уходит женщина. Ни злоба,
Ни просьбы непонятны ей,
И задержать ее не пробуй,
Остановить ее не смей.
Молить напрасно, звать напрасно,
Бежать за ней напрасный труд.
Уходит, и ее, как праздник,
Уже, наверно, где-то ждут.



Марина Цветаева

О ТВОРЧЕСТВЕ

«Две любимые вещи в мире: песня и формула», — написала Марина Цветаева в своем дневнике, когда ей было двадцать шесть лет. А спустя три года пояснила: «То есть — стихия — и победа над ней». Эти слова стали делом, которому она отдала всю свою жизнь.

«Стихия» в устах Цветаевой означает: первичный материал жизни — природы, чувств, страстей, избираемых в данный момент художником в качестве предмета его творческого внимания. «Победа над стихией» — переплавка, перековка материала, обработка его словом (для поэта), процесс превращения жизни в искусство, именуемый творчеством.

О художественном творчестве, о «волшебном» труде творца, о «схватке» художника с вещью не на жизнь, а на смерть», наконец о современности и долговечности его творений и идет речь в предлагаемой ниже подборке высказываний Цветаевой об искусстве. В ней собраны извлеченные из дневников и записных книжек изречения, афоризмы, «формулы», а также отрывки из статей и очерков.

Быть может, некоторые суждения Цветаевой покажутся парадоксальными, спорными, чересчур категоричными, а порою — усложненными. Тем не менее все они, несомненно, разбудят в читателе мысль и воображение и прочтутся с большим интересом.

Анна Саакянц

Нужно писать только те книги, от отсутствия которых страдаешь. Короче: свои настольные.

Сущность — умысел, слышна только слухом.

Творению я несомненно предпочитаю творца. Возьмем Джоконду и Леонардо. Джоконда — абсолют, Леонардо, нам Джоконду давший, — великий вопросительный знак. Но, может быть, Джоконда и есть ответ на Леонардо? Да, но не исчерпывающий. За пределами творения (явленного!) еще целая бездна — творец: весь творческий хаос, все небо, все недра, все завтра, все звезды — всё, обрываемое здесь земною смертью.

Так абсолют (творение) превращается для меня в относительность; вехи к творцу...

Произведение искусства отвечает, живая судьба спрашивает... Произведение искусства, как совершенное, приказует, живая судьба, как несовершенное, просит. Если ты хочешь *абсолюта*, иди к Венере — Милосской, Мадонне — Сикстинской, Улыбке — Леонардовской, если ты хочешь *дать абсолют* (ответить!), иди к Афродите — просто, Марии — просто, Улыбке — просто: минуя толкование — к первоисточнику, то есть делай то же, что делали творцы этих творений, безымянных или именных.

Этим ты не умаляешь ни Гете, ни Леонардо, ни Данте. Твоя немота перед ними — твоя дань им. Что можно ответить на исчерпывающий ответ? Молчишь.

Но если ты рожден в мир — давать ответы, не застывай в блаженном небытии, не так твори и не этого, твоя,

хотели Гете, Леонардо, Данте. Быть опрокинутым — да, но уметь и встать: припав — оторваться, пропав — воскреснуть.

Коленопреклонись — и иди мимо: в мир нерожденный, несотворенный и жаждущий.

В этой *отбрасывающей* силе и есть главная сила великих произведений искусства. Абсолют отбрасывает — к созданию абсолютов же! В этом и заключается их действенность и вечная жизнь.

Я не думаю, я слушаю. Потом ищу точного воплощения в слове. Получается ледяная броня формулы, под которой — только сердце.

Стихи и проза: В прозе мне слишком многое кажется лишним, в стихе (настоящем) все необходимо. При моем тяготении к аскетизму прозаического слова у меня в конце концов может оказаться остов.

В стихе — некая природная мера плоти: меньше нельзя.

(Из дневников и записных книжек 1919 г.)

Там, где может быть перевес «формы» над «содержанием» или «содержания» над «формой», — там сущность никогда и не ночевала.

(«Световой ливень», 1922)

Творец — это все завтрашние творения, все Будущее, вся неизбывность возможности: неосуществленное, но не несуществующее — неучтено — в неучтении своей непобедимое: завтрашний день.

Дописывайте до конца, из жил бейтесь, чтобы дописать до конца, но если я, читая, этот конец почувствую, тогда — конец — Вам.

И — странное чудо: чем больше творение (Фауст), тем меньше оно по сравнению с творцом (Гете). Откуда мы знаем Гете? По Фаусту. Кто же нам скажет, что Гете — больше Фауста? Сам Фауст — совершенством своим.

Возьмем подобие:

«Как велик бог, создавший такое солнце!» — и, забывая о солнце, ребенок думает о боге. Творение совершенством своим отводит нас к творцу. . . . Что же Фауст, как не повод к Гете? Что же Гете, как не повод к божеству? Совершенство не есть завершенность, совершается здесь, вершится — Там. Где Гете ставит точку — там только и начинается! Первая примета совершенности творения (абсолюта) — возбужденное в нас чувство сравнительности. Высота только тем и высота, что она выше — чего? — предшествующего «выше», а это выше уже поглощено последующим. . . . Совершенство (состояние) я бы заменила совершенством (непрерывностью). Прорыв в божество, настолько несравненно большее Гете, как Гете — Фауста, вот что делает и Гете и Фауста бессмертными: малость их, величайших, по сравнению с без сравнения высшим. Единственная возможность восприятия нами высоты — непрерывное перемещение по вертикали точек измерения ее. Единственная возможность на земле величия — дать чувство высоты над собственной головой.

Обещание: завтра лучше! завтра больше! завтра выше! — обещание, на котором вся поэзия — и нечто высшее поэзии — держится: чуда над тобой и, посему, твоего над другими. . . .

Наисовершеннейшее творение, спроси художника, только умысел: то, что я хотел — и не смог. Чем совершеннее для нас, тем несовершеннее для него. . . . Знать свои возможности — знать свои невозможности. (Возможность без невозможностей — всемогущество.)

Вдохновение плюс воловий труд — вот поэт.

(«Герой труда», 1925)

Что такое человеческое творчество? Ответный удар, больше ничего. Вещь в меня ударяет, а я отвечаю, *отдаряю*. Либо вещь меня спрашивает, я отвечаю. Либо, перед ответом вещи, ставлю

вопрос. Всегда диалог, поединок, схватка, борьба, взаимодействие. Вещь задает загадку. Ну — синее, ну — чистое, ну — соленое, — в чем тайна? Под кистью — ответ. Ответ или поиски ответа, третье, новое, возникшее из моря и «я». *Отраженный удар, а не вещь.*

Опережать — повторять. Мы можем только отобразить. Думающие же, что отражают, пишут *с* («ты шуми смирно, а я напишу»), только искажают до жуткой и мертвой неузнаваемости. Ибо если ты хочешь дать это море, настоящее, синее, соленое, точь-в-точь, как есть, — предположим, удалась синева, — где же соль? Удалась соль (!), где же шум? Тогда я уже буду требовать с тебя, как с бога. Море — и все качества! Никакого моря не хочу дать, не могу дать. Не дать, а отгадать, что за солью, синью, шумом. Беззащитность перед ударом (дара). Единственное, что хочу дать, — вещи ударить в себя и, устояв, отдать. Воздать. . .

Что такое морское по отношению к морю? То, без чего вещь не была бы собой, обуславливающее ее, существенное — *роковое* — качество. Соль на соленость, море на морскость обречены, иначе их нет. . . Обуславливающее вещь свойство больше самой вещи, шире ее, вечнее ее, единственная ее надежда на вечность. Морское больше, чем море, ибо морским может быть все и морское может быть всем. «Морское» — та дорога, по которой вещь выходит из себя, неустанно оставляя себя позади, неминуемо отражая. — Перерастая. Морю никогда не угнаться за морским, если оно, отказавшись от только-моря, не перейдет в собственное роковое свойство. Тогда оно само у себя позади и само впереди. Выход, исход, уход, увод. По дороге собственного рокового свойства вещь уходит в мир, размыкается. Разомкнутый тупик самости. Это ведь разное — обреченность на себя, как таковое, и обреченность на свое, не имеющее пределов, знакомо-незнакомое, как поэтический дар для поэта.

Для поэта все дело в *что*, диктующем как. . . Поэтическая задача, если есть, — не цель, а средство, как сама вещь,

которой служит. И не задача, а процесс. — Задача поэзии? — Да. Поэтическая задача? — *Нет.*

Услышим слова. Отделять: как будто — предполагать тщательность, отделяться — небрежность. «Только бы отделаться». Теперь вникнем в суть. От чего мы отделяемся? От вещей навязчивых, надоевших, не дающихся, от *вещей — навязчивых идей*. Если эта вещь еще и твоя собственная, единственная возможность от нее отделаться — ее кончить. . .

«Пока не отделаюсь» — сильнее, чем «доделаю», а с «отделаю» и незнакомо. Отделаюсь — натиск на меня вещи, отделаю — мое распоряжение ею, она в распоряжении моем. Отделяет лень, неохота взяться за другое, отделяется — захват. . . Кто кого? Как с врагом. И не как с врагом, просто — с врагом. Что вещь в состоянии созидания? Враг в рост. Схватиться с вещью. . . Но — с вещью ли схватка? Нет, с собственным малодушием, с собственной косностью, с собственным страхом: задачи и затраты. С собой — бой, а не с вещью. Вещь в стороне, спокойная, знающая, что осуществится. Не на этот раз, так в другой, не через тебя, так через другого. — Нет, именно сейчас и именно через меня.

Что такое внешнее событие? Либо оно до меня доходит, тогда оно внутреннее. Либо оно до меня не доходит (как шум, которого не слышу), тогда его просто нет, точнее — меня в нем нет, как я вне его, так оно извне меня. Чисто внешнее событие — мое отсутствие. Все, что мое присутствие, — событие внутреннее. Событие, которое меня касается, просто не успевает быть внешним, уже становится внутренним, мною. . .

Внешняя жизнь — есть. . . *Внешняя жизнь* у всех пожирателей, прожигателей, — жрущих, жгущих и ждущих. Чего? Да наполнения собственной прорвы, тех самых «внешних событий». . .

Есть ли у художника личная биография, кроме той, в ремесле? И, если есть,

важна ли она? Важно ли то, из чего? И — из того ли — то? . . .

Благоприятные условия? Их для художника нет. Жизнь сама — неблагоприятное условие. Всякое творчество (художник здесь за неимением немецкого слова *Künstler*) — перебарыванье, перемалыванье, переламыванье жизни — самой счастливой. Не сверстников, так предков, не вражды, ожесточающей, — так благожелательства, размягчающего. Жизнь — сырьем — на потребу творчества не идет. И как ни жестоко сказать, самые неблагоприятные условия — быть может — самые благоприятные. (Так, молитва мореплавателя: «Пошли мне бог берег, чтобы оттолкнуться, мель, чтобы сняться, шквал, чтобы устоять!») . . .

Есть факты — наши современники. Есть — наши предшественники, факты до нас. . . Таково все детство и юность. . .

Детство — пора слепой правды, юношество — зрячей ошибки, иллюзии. По юношеству никого не суди. (Казалось бы — исключение Пушкин, до семи лет толстевший и копавшийся в пыли. Но почем мы знаем, что он думал, вернее, что в нем думало, когда он копался в пыли? Свидетелей этому не было. Последующее же — о несуждении по юношеству — к Пушкину относится более, чем к кому-либо. Пушкин, беру это на себя, за редкими исключениями, в юношестве — отталкивает.) . . .

История моих правд — вот детство. История моих ошибок — вот юношество. . . История и до-история. Моя тяга, поэта, естественно, к последней. Как ни мало свидетельств — одно доисторическое — почти догадка — больше дает о народе, чем все последующие достоверности. «Чудится мне. . .» — так говорит народ. Так говорит поэт.

(Из очерка «Наталья Гончарова», 1929)

Большой поэт. Великий поэт. Высокий поэт.

Большим поэтом может быть всякий — большой поэт. Для большого поэта достаточно большого поэтического дара. Для великого самого большого дара — мало, нужен равноценный дар

личности: ума, души, воли и устремление этого целого к определенной цели, то есть *устроение* этого целого. Высоким же поэтом может быть и совсем небольшой поэт, носитель самого скромного дара — как тот же Альфред де Виньи — силой только внутренней ценности добивающийся у нас признания поэта. Здесь дара меньше — получился бы просто герой (то есть безмерно больше).

Великий поэт высокого включает — и уравнивает. Высокий великого — нет, иначе бы мы говорили: великий. Высота как единственный признак существования. Так, нет поэта больше Гете, но есть поэты — выше; его младший современник Гёльдерлин, например, — поэт несравненно беднейший, но *горец* тех высот, где Гете — только гость. И *великий* ведь меньше (ниже), чем *высокий*, будь они даже одного роста. Так: дуб — велик, кипарис — высок.

Слишком обширен и прочен земной фундамент гения, чтобы дать ему — так — уйти ввысь. Шекспир, Гете, Пушкин. Будь Шекспир, Гете, Пушкин *выше*, они бы многого не услышали, на многое бы не ответили, ко многому бы просто не снизошли.

Гений: равнодействующая противодействий, то есть в конечном счете равновесие, то есть гармония, а жираф — урод, существо единственного измерения: собственной шеи, жираф есть шея. (Каждый урод есть часть самого себя.)

Для только-большого — искусство всегда самоцель, то есть чистая функция, без которой он не живет и за которую не отвечает. Для великого и высокого — всегда средство. Он сам — средство в чьих-то руках, как, впрочем, и только-большой — в руках иных. Вся разница, кроме основной разницы рук, — в степени осознанности поэтом этой своей держимости. Чем поэт духовно больше, то есть чем руки, его держащие, выше, тем сильнее он эту свою держимость (служебность) сознаёт. Не знай Гете над собой и своим делом высшего, он никогда бы не написал последних строк послед-

него Фауста. Дается только невинному — или *всё* знающему.

По существу, вся работа поэта сводится к исполнению, физическому исполнению духовного (*не* собственного) задания. Равно как вся воля поэта — к рабочей воле к осуществлению. (Единоличной творческой воли — нет.)

К физическому воплощению духовно уже сущего (вечного) и к духовному воплощению (одухотворению) духовно еще не сущего и существовать желаемого, без различия качеств этого желаемого. К воплощению духа, желаемого тела (идей), и к одухотворению тел, желаемых души (стихий). Слово для идей есть тело, для стихий — душа.

Всякий поэт, так или иначе, слуга идей или стихий. Бывает... — только идей. Бывает — и идей и стихий. Бывает — только стихий. Но и в этом *последнем* случае он все-таки чье-то первое низкое небо: тех же стихий, страстей. Через стихию слова, которая, единственная из всех стихий, отродясь осмысленна, то есть одухотворена. Некое близкое небо земли.

Состояние творчества есть состояние наваждения. Пока не начал — *obsession*¹, пока не кончил — *possession*². Что-то, кто-то в тебя вселяется, твоя рука исполнитель, не тебя, а того. Кто — он? То, что через тебя хочет быть.

Меня вещи всегда выбирали по примете силы, и писала я их часто — почти против воли. Все мои русские вещи таковы. Каким-то вещам России хотелось сказаться, выбрали меня. И убедили, обольстили — чем? моей собственной силой: только ты! Да, только я. И поддавшись — когда зряче, когда слепо — повиновалась, выискивала ухом какой-то заданный слуховой урок. И не я из ста слов (не рифм! — посреди строки) выбирала — сто первое, а она (вещь), на все сто эпитетов упиравшаяся: *меня* не так зовут.

Когда я говорю об одержимости людей искусства, я вовсе не говорю об одержимости их *искусством*.

¹ Одержимость, наваждение (франц.).

² Обладание (франц.).

Искусство есть то, через что стихия держит — и одерживает: средство держания (нас — стихиями), а не самодержавие, состояние одержимости, не содержание одержимости.

Не делом же своих двух рук одержим скульптор и не делом же своей одной — поэт!

Одержимость работой своих рук есть держимость нас в чьих-то руках.

Это — о больших художниках.

Но одержимость искусством есть, ибо есть — и в безмерно большем количестве, чем поэт — лже-поэт, эстет, искусства, а не стихии глотнувший, существо погибшее и для бога и для людей — и зря погибшее.

Демон (стихия) жертве платит. Ты мне — кровь, жизнь, совесть, честь, я тебе — такое сознание силы (ибо сила — моя!), такую власть над всеми (кроме себя, ибо ты — мой!), такую в моих тисках — свободу, что всякая иная сила будет тебе смешна, всякая иная власть — мала, всякая иная свобода — тесна, и всякая иная тюрьма — просторна.

Искусство своим жертвам не платит. Оно их и не знает. Рабочему платит хозяин, а не станок. Станок может только оставить без руки. Сколько я их видела, безруких поэтов. С рукой, пропавшей для иного труда.

Робость художника перед вещью. Он забывает, что пишет *не он*...

Дать уху слышать, руке бежать (а когда не бежит — *стоять*).

Недаром каждый из нас по окончании: «Как это у меня чудно вышло!», никогда: «Как это я чудно сделал!» Не «чудно вышло», а чудом — вышло, всегда благодать, даже если ее посылает не бог.

А доля воли во всем этом? О, огромная. Хотя бы не отчаяться, когда ждешь у моря погоды.

На сто строк десять — данных, девяносто — заданных: не дававшихся, дававшихся, как крепость — сдававшихся, которых я добилась, то есть дослушалась.

Моя воля и есть слух, не устать слушать, пока не услышишь, и не заносить ничего, чего не услышал. Не черного (в тщетных поисках исчерканного) листа, не белого листа бояться, а *своего* листа: самовольного.

Творческая воля есть терпение.

(Из статьи «Искусство при свете совести», 1932)

Нелюбовь к вещи во-первых и в-главных есть неузнавание ее: в ней — уже знакомого. Первая причина неприятия вещи есть неподготовленность к ней. ...Ничего не вижу (на этой картине) и поэтому не хочу смотреть — а чтобы видеть, именно нужно смотреть, чтобы увидеть — всматриваться. Обманутая надежда глаза, привыкшего по первому взгляду — то есть по прежнему, чужих глаз, следу, — видеть. Не дознаваться, а узнавать. У стариков усталость (она и есть отсталость), у обывателя предубежденность, у живописца, не любящего современной поэзии, — заставленность (голова и всего существа) — своим. Во всех трех случаях — страх усилия, вещь простимая — пока не судят.

Обыватель большей частью в вещах искусства современен поколению предыдущему, то есть художественно сам себе отец, а затем и дед и прадед.

...Творить иной век чем свой... не могу: сотворенного не творят и творят только вперед.

Не современного (не являющего своего времени) искусства — нет. Есть реставрация, то есть не искусство, и есть одиночки, заскочившие из своего времени на сто, скажем, лет вперед (NB! никогда — назад!), то есть опять-таки, хотя и не своему времени, но современные, то есть не вневременные.

Гений дает имя эпохе, настолько он — она, даже если он этого не доосознает (якобы, прибавим, ибо Винчи, Гете, Пушкин — сознавали). ...Гений с полным правом может сказать о времени

¹ «Время — это я...»; «Мое время — это я» (франц.).

то, что о государстве Людовик — без никакого: «Le temps c'est moi», вся плеяда: «Mon temps c'est moi...»¹

...Запоздать в искусстве нельзя... само искусство, чем бы ни питалось и что бы ни пыталось восстановить, уже само есть продвижение... Возврата в искусстве нет: безостановочно, то есть невозвратно. Не на поворот головы идущего глядите, а на версты, отмахиваемые. Можно идти и вовсе закрыв глаза — с палкой слепого — и вовсе без палки. Ноги сами выведут, будь ты мысленно от них за тридевять земель. Глядел назад, а шел вперед.

...Всякая современность в настоящем — сосуществование времен, концы и начала, живой узел — который только разрубить...

Причина неприятия Иксом современного искусства в том, что он его больше не творит. Икс не современен не потому, что не принял современности, а на своем творческом пути остановился, — единственно на что творец не вправе. Искусство идет, художники остаются.

...Из Истории не выскочишь.

...Признак современности поэта отнюдь не в своевременности его общепризнанности, следовательно — не в количественности, а в качественности этого признания. Общепризнанность поэта может быть и посмертной. Но современность (воздействие на качество своего времени) всегда прижизненная, ибо в вещах творчества только качество и в счет.

Современность поэта во стольких-то ударах сердца в секунду, дающих точную пульсацию века — вплоть до его болезней (NB! в стихах мы все задыхаемся!), во внесмысловом, почти физическом созвучии сердцу эпохи — и мое включающему, и в моем — моим — бьющемуся...

Стихи наши дети. Наши дети старше нас, потому что им дольше, дальше жить. Старше нас из будущего. Поэтому нам иногда и чужды.

Ни одного крупного русского поэта современности, у которого после революции не дрогнул и не вырос голос, — нет. Тема Революции — заказ времени.

...Заказ мне времени есть моя дань времени. Если всякое творчество, т. е. всякое воплощение, — дань человеческому естеству, это — сугубая дань естеству...

Современность не есть все мое время. Современное есть показательное для времени, то, по чему его будут судить: не заказ времени, а показ. Современность — сама по себе — отбор. Истинно современное есть то, что во времени — вечного, посему, кроме показательности для данного времени, своевременно — всегда, современно — всему. Пушкинские стихи «К морю», например, с тенями Наполеона и Байрона на вечном фоне Океана.

Современность в искусстве есть воздействие лучших на лучших, то есть обратное злободневности: воздействию худших на худших. Завтрашняя газета уже устарела. Из чего явствует, что большинство обвиняемых в «современности» это-

го обвинения и *не заслуживают*, ибо грешат только временностью (понятие, такое же обратное современности, как и вневременность). Современность: всевременность. Кто из нас окажется нашим современником? Вещь, устанавливаемая только будущим и достоверная только в прошлом...

Быть современником — творить свое время, а не отражать его.

Надпись на одном из пограничных столбов современности: *В будущем не будет границ* — в искусстве уже сбылась, отродясь сбылась. Мировая вещь — та, которая в переводе на другой язык и на другой век — в переводе на язык другого века — меньше всего — ничего не утрачивает. Все дав своему веку и краю, еще раз все дает всем краям и векам. Предельно явив свой край и век — беспредельно являет все, что не-край и не-век: **навек.**

(Из статьи «Поэт и время», 1932)



Владислав Шогин

* * *

Юрьевец, Юрьевец, красные скалы,
Волжская речь над спокойной волной...
Кто говорит, что я злой и усталый,
Если великая Волга со мной!

Берег крутой, как приказ, в Васильсурске;
Горьковский вздох над разливом Оки.
Здесь и дышу, и пишу я по-русски
Всем иностранным ветрам вопреки.

Южная степь — астраханские плавни,
Север — соболя легенда бровей.
Нет на Руси ничего стародавней,
Нет ничего у России новой!

* * *

Белозерские зори,
Зори в полный накал.
О, Кубенское море,
Вологодский Байкал!

Ты душою крылатой —
Солнце с ветром вдвоем —
Отозвалось когда-то
В русом деде моем.

Слышу ветер погожий,
Вижу светлую высь.
Ты в душе моей тоже
Отзовись, отзовись!

Голубые просторы —
Нива богатейшей.
Отвори же мне створы
Шлюзовальных дверей!



Тамара Никитина

ДЕРЕВНЯ МОЛОДИ

Ты течешь, ты уходишь, вода.
Ну постой, ну скажи хоть словечко!
Я забыла дорогу туда,
Где течет моя светлая речка.

А она выгибалась в дугу,
Как стальная блестящая стружка.
На высоком ее берегу
Приютилась одна деревушка.

Я такие деревни не раз
Мастерила из дедовых спичек.
Как умеет младенческий глаз
Все приблизить и все увеличить!

Вот лошадка. Она словно жук,
А с наперстками по воду ходят.

Там, наверное, боги живут,
Те, что божьих коровок разводят.

Тянет холодом. Небо как сталь.
И дымки. Видно, топится печка...
Как просила я: «Деда, достань
Ну хоть б одного человечка!»

— Вот поди и достань, стрекоза.
(Доброта-то какая во взгляде!)
Это Молоди, — дед мне сказал,
И широкой ладонью погладил.

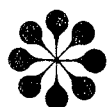
Вот и время — идет как вода.
Ну постой, ну скажи хоть словечко...
Я не помню дороги туда,
Где течет моя светлая речка.



Вадим Халупович

* * *

Ты знаешь, меня задержали
Дела. Задержали, прости.
Шел дождь, и деревья дрожали.
Травинки спешили расти.
И капли на город летели
Сквозь солнечные лучи,
Восторженно птицы галдели,
Машины, как будто смерчи,
Неслись по асфальтам блестящим.
И пар поднимался, как дым.
И город казался летящим,
Стремительным и молодым.
Вокруг грохотала, гудела
Гражданская музыка дня.
А ты, пригорюнясь, сидела
На краешке стула, одна.
И не было в мире ни звука,
А если и были — не верь!
Одно ожидание стука
В безмолвную, белую дверь.



Юрий Логинов

* * *

Вот полдень твой. Вот жизни полвитка.
В ручье — струя голубизны придонной.
Над ним головка хрупкого цветка,
Щека земли и холодок ладоней.

Дыши вздохом иль вовсе не дыши,
Замри на миг, почувствовав плечами
Предвестье грома в травяной тиши
И ярость рук, ласкающих в молчаньи.

Приблизь глаза к тоскующим глазам,
В них юность затонула — и не тонет,

Забытого не возвращая нам
И возвращая чище и достойней.

Вот мужественных чувств круговорот.
Сердечной дрожи не избыть словами!
Была игра намеков и острот,
Но об нее обрезались мы сами.

И все теперь подвластно нам вдвоем,
И в наши души не внесут разлада
Ни жар земли, ни звездный окоем,
Ни звонкий полдень, ни ручья
прохлада...

* * *

А. Мацаеву

Не всем повезло, кто характером в нас.
Мы небом единственным дышим.
И мы никогда не живем напоказ,
Не всё в биографию пишем.

Не выразить грудам анкетных бумаг
Обыденность чувств и явлений,
Внезапную властность решений ума,
Негласность сердечных волнений.

Кто моря не видел, боится волны,
Но кто подружился с волною —
Полюбит заманчивый мир глубины
За риск — отвечать головою.

И тверже ступая, и глубже дыша,
Все сможет в спокойной отваге.
А как одолела стихию душа —
Вовек не сказать на бумаге.

Какую нагрузку на сердце берем,
О том — никому ни намеком.
Но скажется это в грядущем твоём —
И в близком и в самом далеком.

Не знать никому, как болит голова
В бессонных раздумьях ночами.
Всё так! И губами лаская слова,
Я лишь повторю, как вначале:

Не всем повезет, кто характером в нас,
Кто небом единственным дышит.
Но пусть никогда не живет напоказ,
Не всё в биографию пишет.



Елена Серебровская

* * *

Для меня вино припасено
В городском саду, в зеленых чашах,
В солнечных глазах твоих вино,
Колдовское, словно дружба наша.

Для меня вино припасено
В деревянном ящике поющем,
В голубе, взлетевшем на окно
И привет от птиц передающем.

Для меня вино — во всем вокруг:
Вот географическая карта —
И уже души коснулся друг,
Ветер странствий, влажный ветер марта.

Для меня вино припасено
В запахе весеннем краснотала,
В радости, обещанной давно,
Что пришла и на пороге встала.

Я вино обидеть не хочу:
Тешатся игрой его в бокале
Те, которым тоже по плечу
Радости людские и печали.

Только я и без него хмельна,
Потому что хитрая весна
Ставит на пути моем капканы,
Потому что на небе — луна
И луне подвластны океаны,
Потому что кликни, позови —
И возьмется хмель чудить в крови!



Николай Олейников

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

Более сорока лет назад впервые зазвучали в Ленинграде стихи Николая Олейникова. Они читались в клубных залах, на дружеских вечерах, изредка появлялись на страницах журналов; отдельные строфы превращались в поговорки, включались в юмористические рассказы и пьесы. Однако ссылка на автора долгие годы отсутствовала.

Стихи Николая Макаровича Олейникова в какой-то мере продолжали традиции Козьмы Пруткова и Щедрина. Но, создавая калейдоскоп образов, с едкой иронией приподнимая личину обывателя, они почти каждый раз звучат из уст нового персонажа. Это сближает Олейникова с поэтами «Искры». На пестром фоне разноликих типажей неоднократно появляется лишь одна фигура — некий философствующий «домашний» поэт, от имени которого время от времени выступает автор. Этот прием позволяет перебросить логический мост между разно-

временными, казалось бы совершенно не связанными друг с другом, стихотворениями и, поместив персонажей в интимную обстановку, показать подлинную цену ущербности интеллигентствующего мещанства с его фальшивыми идеалами и навеянными модной литературой эротическими поползновениями.

Стихи Николая Олейникова то проникнуты грустной иронией, то полны беззаботного юмора, то нарочито застольны; иногда они пародируют современных или классических поэтов. Но ни одна из пародий не ставит целью дискредитацию первоисточника. Это лишь средство, дающее возможность рассмотреть сквозь увеличительное стекло тщетные попытки мещанина приспособить к своим нуждам достижения культуры.

Характерное для стихов Н. Олейникова сочетание кажущегося распада формы с четкой, часто очень сложной архитектурой ритма и звука, лиричность и простота, верность традициям народной поэзии, насыщенность аналогиями, параллелями и ассоциативными связями невольно создают настроение, заставляющее задуматься над смыслом самых обыденных вещей, когда простые предметы предстают в необычном освещении и внешне веселое повествование о них может неожиданно обрести неподдельно трагическое звучание.

Н. Олейников много писал и для младшего поколения.

В стихах и прозе ведет он разговор с детьми как с равными, с полным основанием полагаясь на их сообразительность и чувство юмора. Он рассказывает им о революции, о гражданской войне, о красногвардейцах, о восставшем Петрограде.

Командир Красной Армии, киносценарист, журналист и редактор, он писал радиопередачи и рассказы, детские стихи и рекламные проспекты, подписи к занимательным картинкам и статьи по высшей математике. Он редактировал журналы «Еж», «Чиж», «Сверчок» и не оставил любимого дела до последнего дня. О его работе редактора можно сказать словами Н. К. Михайловского: «Он создавал и вербовал солдат, и сам исполнял невидную солдатскую работу».

Александр Олейников

ТАРАКАН

Таракан попался в стакан.

Достоевский

Таракан сидит в стакане,
Ножку рыжую сосет.
Он попался. Он в капкане.
И теперь он казни ждет.

Он печальными глазами
На диван бросает взгляд,
Где с ножами, с топорами
Вивисекторы сидят.

У стола лекпом хлопочет,
Инструменты протирая,

И под нос себе бормочет
Песню «Тройка удалая».

Трудно думать обезьяне,
Мыслей нет — она поет.
Таракан сидит в стакане,
Ножку рыжую сосет.

Таракан к стеклу прижался
И глядит едва дыша...
Он бы смерти не боялся,
Если б знал, что есть душа.

Но наука доказала,
Что душа не существует,
Что печенка, кости, сало —
Вот что душу образует.

Есть всего лишь сочлененья,
А потом соединенья.

Против выводов науки
Невозможно устоять.
Таракан, сжимая руки,
Приготовился страдать.

Вот палач к нему подходит,
И, ощупав ему грудь,
Он под ребрами находит
То, что следует проткнуть.

И проткнувши, набок валит
Таракана, как свинью.
Громко ржет и зубы скалит,
Уподобленный коню.

И тогда к нему толпою
Вивисекторы спешат.
Кто щипцами, кто рукою
Таракана потрошат.

Сто четыре инструмента
Рвут на части пациента.
От увечий и от ран
Помирает таракан.

Он внезапно холодеет,
Его веки не дрожат. . .
Тут опомнились злодеи
И попятились назад.

П Е Р Е М Е Н А Ф А М И Л И И

Пойду я в контору «Известий»,
Внесу восемнадцать рублей
И там навсегда распрощаюсь
С фамилией прежней моей.

Козловым я был Александром,
А больше им быть не хочу.
Зовите Орловым Никандром,
За это я деньги плачу.

Все в прошедшем — боль, невзгоды.
Нету больше ничего.
И подпочвенные воды
Вытекают из него.

Там, в щели большого шкапа,
Всеми кинутый, один,
Сын лепечет: «Папа, папа!»
Бедный сын!

Но отец его не слышит,
Потому что он не дышит.

И стоит над ним лохматый
Вивисектор удалой,
Безобразный, волосатый,
Со щипцами и пилой.

Ты, подлец, носящий брюки,
Знай, что мертвый таракан —
Это мученик науки,
А не просто таракан.

Сторож грубою рукою
Из окна его швырнет,
И во двор вниз головою
Наш голубчик упадет.

На затоптанной дорожке
Возле самого крыльца
Будет он, задравши ножки,
Ждать печального конца.

Его косточки сухие
Будет дождик поливать,
Его глазки голубые
Будет курица клевать.

Быть может, с фамилией новой
Судьба моя станет иной,
И жизнь потечет по-иному,
Когда я вернуся домой.

Собака при виде меня не залает,
А только замашет хвостом,
И в жакте меня обласкает
Сердитый подлец управдом. . .

.

Свершилось! Уже не Козлов я!
Меня называть Александром нельзя.
Меня поздравляют, желают здоровья
Родные мои и друзья.

Но что это значит? Откуда
На мне этот синий пиджак?
Зачем на подносе чужая посуда?
В бутылке зачем вместо водки коньяк?

Я в зеркало глянул стенное,
И в нем отразилось чужое лицо.
Я видел лицо негодяя,
Волос напомаженный ряд,
Печальные тусклые очи,
Холодный уверенный взгляд.

Тогда я ощупал себя, свои руки,
Я зубы свои сосчитал,
Потрогал суконные брюки —
И сам я себя не узнал.

Я крикнуть хотел — и не крикнул.
Заплакать хотел — и не смог.

«Привыкну, — сказал я, — привыкну!» —
Однако привыкнуть не мог.

Меня окружали привычные вещи,
И все их значения были зловещи.
Тоска мое сердце сжимала,
И мне же моя же нога угрожала.

Я шутки шутил! Оказалось,
Нельзя было этим шутить.
Сознание мое разрывалось,
И мне не хотелось жить.

Я черного яду купил в магазине,
В карман положил пузырек.
Я вышел оттуда шатаясь,
Ко лбу прижимая платок.

С последним коротким сигналом
Пробьет мой двенадцатый час.
Орлова не стало. Козлова не стало.
Друзья, помолитесь за нас!



Владимир Иванов

МАЛЬЧИШКА ФЕБУ ГИМН ПРИНЕС

МЫ С ТОБОЙ

Мальчишка Фебу гимн принес:
— Мне говорили — ты умелый.
Тут, может, встретишь перекося,
Поправь.
Додумай.
Переделай.

Добавь огня.
Блесни.
Воспой.
Гимн полновесный выдай людям!
И мы с тобой, само собой,
Тогда — соавторами будем!

РАСТУТ ГОДА

Ходил мальчишка в детский сад.
Читал стихи друзьям-товарищам.
Потом, порадовав ребят,
Стал называться — начинающим.

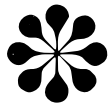
До молодых затем дорос,
Как и положено мальчишкам. . .
Когда он Фебу гимн поднес,
Мальчишке было сорок с лишком!

Молоко я пью парное,
Ем редиску из кулька.
Что-то очень озорное
Я беру у василька.

Я беру скрещенье линий,
Стон осоки на ветру.
Я беру тревогу ливней
И спокойствие беру.

Я беру и замираю,
Как над пропастью крутой.
Я наполнена до края
Тишиной и добротой.

Как нести мне эту ношу,
Если дали — далеки?
Если каждый день я множу
Неоплатные долги?



Василий Соколов

ЗВЕЗДЫ НА КУПОЛАХ

Когда облаков вереницы
Истлеют, развеются в прах,
Горят золотые жар-птицы
На синих пяти куполах.

Бестрепетны, восьмиконечны
Их крылья над светлой рекой,
Над ширью сквозной, быстротечной, —
Не схватишь, не тронешь рукой.

Раздумье заставит взглянуться
В былое и в новую Русь,
И сказка отыщется в сердце,
Которую знал наизусть.

В той сказке —
Про синее море,
Про звездное небо слова.

И вот она — в звездном уборе
Заветная синь-синевая!

Спасибо тебе, реставратор,
Делам твоим честь и хвала.
Сверкающий ртутью фарватер
Купает весь день купола.

А ночью, когда от осоки
Дыханием веет сырым,
Созвездья и месяц высокий
Завидуют звездам твоим.

И мы, прислоняясь к раките,
Не веря ни в сказку, ни в сон,
Дивимся:
Не новый ли Китеж
Спокойной водой отражен?



Леонид Хаустов

ГОРНОЕ ЭХО

Тобою, строка, проверяю
Я смысл своего бытия.
Тебе лишь одной поверяю,
Что понял, что выстрадал я.

Ты — эхо и счастья и боли,
Что мне испытать довелось,
И песни девической в поле,
И стона с ничейных полос.

Но прошлым одним не искупит
Свое назначенье поэт.

Будь эхом того, что наступит —
Пускай через тысячу лет!

Над сытой долиной успеха
Летящая к людям строка —
Высокое горное эхо —
Всегда неподкупно строга.

Сердца — это те же вершины,
Нелегкий крутой перевал,
А чувства — такие ж лавины,
Как эхом рожденный обвал!

САЛЬЕРИ

А он и впрямь обрел бессмертье,
В веках бесследно не исчез.
В энциклопедиях проверьте,
Возьмите том на букву С.

Сальери.
Имя вы назвали.
Но как-то странно оттого,
Что вы ни разу не слышали
Звучанья музыки его.

.. Когда над Моцартом сомкнулась
Земля, как на море, — волной,
Должно быть, глубоко вздохнулось
Тому, кто ждал минуты той.

Но было так:
Когда в партере
И в ложах смолкли голоса,
Исполнить музыку Сальери
Ничей смычок не поднялся.

Прикрыв глаза рукой неловко,
Похолодел недаром он:
Так начиналась забастовка
Всех музыкантов всех времен!

Всю жизнь свою отдать карьере,
А сорок опер — всё молчат. . .
И не себя ль убил Сальери,
В чужой стакан бросая яд?!

* * *

О Забайкалье! Светлая тайга,
Обрывистые каменные кручи,
Лиловые нагорные луга
И молнией расколотые тучи.

Причудливые горные хребты,
Овеянные дымкой голубою. . .
Мне тяжело от этой красоты,
Когда я не делю ее с тобою.

Ольге



Петр Ойфа

* * *

В век реактивных скоростей,
Стремглав сгорающих страстей
Что нужно? Медленно ходить
И сметь неторопливым быть,
Чтоб свой жестоко быстрый век
В деталях понял человек!

НА ПСКОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

Приятна свежесть вымытого пола
Для ног босых.

Прошлепал на крыльцо.

Река по-вешнему полна водою полой
И с берегом идет заподлицо.

В избе дремотно, и немножко жалко
Скрипят источенные косяки.
Старинная прабабушкина прялка.
И домодельные половики.

У сказочницы, у хозяйки нашей,
Что былей-небывальщин на веку!

Они ложатся песенною пряжей
И красным словом в красную строку.

Студент-филолог, внук ее дотошный,
В своей науке дерзостен и рьян,
На пленку, как открытье, неотложно
Записывает новый вариант.

Как часто слово нам не друг, а недруг!
От пошлости себя не уберечь.

Но здесь в псковских языкотворных
недрах

Еще жива живая наша речь.



Игорь Смирнов

* * *

Двадцатый век. Аэродромы.
Разгул рокоцущих турбин.
Плывет земля в объятьях дремы,
В осеннем зареве рябин.

Размыты дымчатые дали,
Они влекут — куда невесть.

Но те, которые взлетали,
Всегда мечтали где-то сесть.

Пусть даже там и нелюдимо,
И нужно все еще начать...
Чтоб жить — всегда необходимо
Ногами землю ощущать.



Александр Кушнер

СТАНЦИЯ СВЕЧА

Смотри: в окне вагонном,
Приковывая взгляд,
Леса по темным склонам
Бегут назад, назад.

Зато на дальнем плане,
Средь речек и болот,
Они, как на аркане,
Бегут вперед, вперед.

Перемещенья эти
У станции Свеча
Впервые я заметил,
Сквозь темень различа,

Как мчит кустов орава
Налево, на закат,

А вдалеке — направо
Несется их собрат.

Тянулся луг вдоль луга,
Все разбегалось врозь,
Все терлось друг о друга,
Трещало и рвалось.

Но в той неразберихе
Мне виден до сих пор
Вокзальный вечер тихий,
Буфет и семафор,

И заспанные дети
В вокзальной духоте,
И всё в неровном свете,
Как на другой звезде.

* * *

В саду ли, в сыром перелеске,
На улице, гулкой, как жесть,
Нетрудно, в сиянье и блеске,
Казаться печальней, чем есть.

И, в сторону глядя, в два счета,
У тусклого стоя пруда,
Пленить незаметно кого-то
Трагической складкой у рта.

Так действует эта морщинка.
Но с возрастом как-то ясней
Ты видишь: не стоит овчинка
Той выделки хитрой, бог с ней!

Все чаще с растерянным, жарким
И незащищенным лицом
Стоишь перед светлым подарком —
Опушкой, парком, дворцом.

* * *

Проснусь — не пойму поначалу,
Куда я лежу головой.
Как будто меня укачало
В тяжелой дороге ночной.

Как будто меня оглушили
Настойкой, отравой из трав,
Как будто меня закружили,
Салфеткой глаза завязав.

Где двери? и окна? и стены?
Об угол ударившись лбом,
В себя прихожу постепенно,
И вот понимаю с трудом:

Душа возвращается в тело.
И в спешке, набегавшись власть,
В ту лунку, где прежде сидела,
Как в лузу, не может попасть.



Николай Кутюков

* * *

До чувств твоих хочу я дорасти.
Так взрослыми стремятся стать подростки,
Так к солнцу, к свету тянутся березки,
Что на твоём встречаются пути.

До чувств твоих возвыситься хочу,
Хотя мне лет без малого полсотни
И серебром седин уже сегодня
Дань времени безропотно плачу.

Но в чувствах до тебя я не дорос.
Тебе я в чувствах до плеча, пожалуй,
Хотя и пожилой, и возмужалый,
А ты девчонка с кольцами волос,
Но до тебя я в чувствах не дорос!

ПИСЬМО

Опять письмо. Что в нём найду,
Какие важные подробности?
Что? Радость или же беду
Несет письмо из снежной области?

Суров ли, ласков твой ответ?
Ты можешь и убить нечаянно.
Да или нет — как мрак и свет,
Надежда или же отчаянье.

Опять письмо! А как узнать,
Кому ещё ты пишешь, милая?
Дружны мы — тишь и благодать,
А нет — стоит пора унылая.

Какой придет ещё ответ?
Могу ли на тебя надеяться?
На да и нет, на мрак и свет
Теперь все в этом мире делится.

Все делится на свет и мрак,
Подвластно твоему желанию.
Так делать мне или не так —
Решаешь ты на расстоянии.

Не хочешь, может, и сама
Того, но так уж получается,
И от письма и до письма
Весь мир, как маятник, качается.

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ «ДНЯ ПОЭЗИИ» УЧАСТВУЮТ:

Авраменко И. — 57; Агеев Л. — 83; Азаров В. — 17, 65; Аквилев А. — 60, 68; Альтовская Н. — 8; Ахматова А. — 48;
Багрицкий Э. — 65; Банк Н. — 20; Барбас Л. — 84; Бахтин В. — 30; Бетаки В. — 44; Борисов В. — 114; Борисова М. — 25; Ботвинник С. — 11; Браун Н. — 28, 46; Ваншенкин К. — 33; Вдовина Р. — 105; Владимиров С. — 38;
Гаврилов Л. — 91; Гампер Г. — 101; Гинзбург Л. — 63; Гиршина Т. — 29; Гитович А. — 52; Gladкая Л. — 107; Горбовский Г. — 85; Гордин Я. — 96; Григорьев И. — 73; Гроховский Л. — 17; Грудинина Н. — 97, 103; Давыдов С. — 15, 69; Данилов Н. — 93; Друскин Л. — 27; Дубровина Э. — 99; Дудин М. — 32, 76;
Евстифеев Н. — 35; Еремеева Н. — 14; Зенкевич М. — 94; Иванов В. — 129; Кабанов А. — 99; Кауров Б. — 92; Каганова П. — 86; Кежун Б. — 61, 70; Клещенко А. — 101; Кобраков П. — 41; Комиссарова М. — 59; Королёва Н. — 72; Коршунов А. — 6; Краснов А. — 7; Крестинский А. — 102; Кузнецов В. — 103; Кузлин Л. — 100; Кулле С. — 107; Кустов П. — 40; Кутов Н. — 135; Кушнер А. — 134;
Лихарев Б. — 13; Логинов Ю. — 124; Малышев Н. — 43; Малярова И. — 47; Михайлов И. — 10; Молева С. — 74; Мочалов Л. — 82;
Некрасов Б. — 98; Никитина Т. — 123; Никольская Л. — 75; Новицкая Г. — 43; Новосёлов Н. — 8;
Ойфа П. — 133; Олейников А. — 127; Олейников Н. — 126; Орлов С. — 115; Островская Н. — 113;
Пагирев Г. — 69, 70; Погореловский С. — 91; Полонская Е. — 15; Полякова Н. — 90; Попова Л. — 94; Прокофьев А. — 22;
Решетов А. — 74; Рывина Е. — 95; Рождественский В. — 24, 47, 87;
Саакянц А. — 116; Сергеева И. — 109; Серебровская Е. — 125; Серова Е. — 114; Сидоренко Н. — 46; Слепакова Н. — 110; Смирнов И. — 133; Соколов В. — 131; Соснора В. — 80; Станишич Й. — 67; Стекольников Л. — 34;
Тарутин О. — 14; Титов А. — 42; Тихонов Н. — 5; Торопыгин В. — 19; Трифонов Г. — 79; Халид Р. — 69; Халупович В. — 124; Хаустов Л. — 132; Цветаева М. — 116; Чепуров А. — 9; Чуркин А. — 26; Шевелёв А. — 112; Шестинский О. — 36; Шефнер В. — 70; Шошин В. — 122; Щипахина Л. — 130; Эткинд Е. — 51; Яворская Н. — 92.

ДЕНЬ ПОЭЗИИ • 1966

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1966, 136 стр. Тем. план вып. 1966 г. № 205

Редактор Г. В. Пагирев

Худож. редактор А. Ф. Третьякова. Техн. редактор З. Г. Игнатова. Корректор Ф. С. Флейтман

Сдано в набор 5/VIII 1966 г. Подписано в печать 5/X 1966 г. М-52714. Бумага 84×108¹/₁₆, № 2. Печ. л. 8¹/₂ (14,28). Уч.-изд. л. 10,42. Тираж 50 000 экз. Заказ № 1164. Цена 49 коп.

Издательство «Советский писатель», Ленинградское отделение. Ленинград, Невский проспект, 28. Ленинградская типография № 5 Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР. Красная ул., 1/3.

49 коп.



Советский писатель 